

Тимур КИБИРОВ

# ПАРАФРАЗИС

КНИГА СТИХОВ

«Пушкинский фонд» • МСМХСVII  
Санкт-Петербург



\* \* \*

Знабали, прораб ват прот от -  
про то, што кончат се лето,  
што я нехорош и немало,  
што двата ме управитя горф,  
како зрети и горазо краситея,  
што премног макуриче ивн,  
што вново магазин одвекан,  
а вора одикут ева м,  
што не уроцимаш картошкя,  
што я умирал покаршкя,  
ко вново, как ни в гет не довало,  
Ивн не смугаея немало,  
што како др ме не ленавн,  
што на звацзавн третей спранце  
задрит Иолкин и задромен,  
што скоро московкя осен  
онель дует колд и канюгил  
со маи в ушман, што макуричи  
я стал, напоредие ивн,  
што мне без гедз середиво,  
знабали м маи протвещени,  
и што на вонре длаи жакошнн -  
"А иа хрен знава мене вкй от?"  
Отведо по-претонему ивн

авиет Гбг.

**Тимур КИБИРОВ**

# ПАРАФРАЗИС

**КНИГА СТИХОВ**

«Пушкинский фонд» • МСМХСVII

Санкт-Петербург

**К 38**

**ББК 84.Р7**

**Редакция признательна  
*В. И. Розмаинскому*  
за поддержку настоящего издания**

**Марка издательства работы  
*Сергея Семенова***

**ISBN 5-85767-100-0**

**© Тимур Кибиров, 1997**

## ОТ АВТОРА

Предлагаемая Вашему вниманию книга писалась с 1992 по 1996 год.

Злосчастная склонность автора даже в сугубо лирических текстах откликаться на злобу дня привела к тому, что некоторые стихотворения, вошедшие в книгу, производят впечатление нелепого размахивания кулаками после драки. В частности, это касается послания Игорю Померанцеву. Сознавая это, автор тем не менее вынужден включить эти стихи в состав новой книги, поскольку «Парафразис» задумывался и писался как цельное, подчиненное строгому плану сочинение. Надо, впрочем, признаться, что полностью воплотить свой замысел автору не удалось — так не была дописана поэма «Мистер Пиквик в России», которая должна была занять место между сонетами и «Историей села Перхурова» и, являясь стилистическим и идеологическим столкновением Диккенса с создателем «Мертвых душ», дала бы возможность и русофобам и русофилам лишний раз убедиться в собственной правоте.

К сожалению, в цикле «Памяти Державина» также остались не-написанными несколько «зимних» стихотворений, отчего вся книга приобрела избыточно мажорное звучание, что в нынешней социокультурной ситуации, быть может, не так уж и плохо.

## I. ИГОРЮ ПОМЕРАНЦЕВУ. ЛЕТНИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЬБАХ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОТИ

(вторая редакция)

Эта борьба с омерзительным призраком нищеты, неумолимо надвигавшейся на маркиза, в конце концов возмутила его гордость. Дон Фернандо готов был бросить все на произвол судьбы.

*Густав Эмар*

Нелепо сгорбившись, застыв с лицом печальным, овчарка какает. А лес как бы хрустальным сияньем напоен. И даже песнь ворон в смарагдной глубине омытых ливнем крон отнюдь не кажется пророческой. Лесною дорогой утренней за влагой ключевую иду я с ведрами. Июль уж наступил. Дней знойных череда катится вдаль, и пыль, прибитая дождем, ступню ласкает. Томик, Руслана верного бессмысленный потомок, мчит, черной молнии подобный, за котом полоумевшим. Навстречу нам с мешком полителеновым, где две рыбешки вяло хвостами шевелят, бредет рыбарь бывалый Трофим Егорович: «Здорово, молодежь! Ну, у тебя кобель! Я чай, не напасешь харчей для этакой орясины!» Докучный рой комаров кружит над струйкой сладкозвучной источника. Вода в пластмассовом ведре прохладна и чиста. И Ленка во дворе пеленки Сашкины полощет, напевая мелодью Френкеля покойного. Цветная капуста так и прет, свекольная ботва пышна... Любезный друг, картина не нова: дубравы мирной сень, дубровы шум широкий, серебристых ив гряда, колодезь кривобокий и, словно фронтиспис из деревенских проз, в окне рябины гроздь и несколько берез.

И странный взгляд козы, и шип гусей змеиный, золотых шаров краса, незлобный и невинный мат шильковских старух, и жгучий самогон, и колорадский жук, и первый патиссон.

Так, Игорь, я живу на важных огородах.  
Казалось бы, давно в элегиях и одах  
я должен был воспеть пустынный уголок.  
Чем не Тригорское? Гармонии урок  
дают мне небеса, леса, собаки, воды.  
Казалось бы. Ан нет! Священный глас природы  
не в силах пробудить уснувшей лиры звук.  
Ах, как красиво все, как тихо все вокруг!  
Но мысль ужасная здесь душу посещает!  
Далекий друг, пойми, мой робкий дух смущает  
инфляция! Уже излюбленный «Дымок»  
стал стоить двадцать пять рублей. А денег йок!  
Нет денег ни хрена! Товар, производимый  
в восторгах сладостных, в тоске неизъяснимой,  
рифмованных словес заветные столбцы  
всё падают в цене, и книгопродавцы  
с поэтом разговор уже не затевают.  
Меж тем семья растёт, продукты дорожают,  
все изменяется. Ты, право, б не узнал  
наш порт пяти морей. Покойный адмирал  
Шишков в своем гробу не раз перевернулся  
от мэрий, префектур, секс-шопов. Развернулся  
на стогнах шумный торг — Гонконг, Стамбул, Тайвань  
соблазнов модных сеть раскинули и дань  
собирают со славян, забывших гром победы.  
Журнальный балагур предсказывает беды.  
А бывший замполит (теперь политолог)  
нам демократии преподаёт урок.  
А брокер с дилером и славный дистрибьютер  
мне силятся продать «Тойоту» и компьютер.  
Вотще! Я не куплю. Я покупаю с рук  
«Имбирную». О да! Ты прав, далекий друг, —  
вкус препротивнейший у сей настойки горькой.  
С аванса я куплю спирт «Роял»... Перестройка  
закончена. Теперь нам, право, невдомек,  
чем так прельщал умы хитрейший «Огонек»,  
честнейший «Новый мир», Коротич дерзновенный  
и «Moscow news». Увы! Читатель развращенный  
листает «Инфо-СПИД» и боле не следит  
за тем, кто, наконец, в сраженьи победит —  
свободы друг Сарнов иль Кожинев державный.  
Литературочка все более забавна  
и непрстойна. Жизнь, напротив, обрела



серьезность. Злой Кавказ кусает удила,  
имамов грозных дух в нем снова закипает  
и терпкой коноплей джигитов окрыляет.  
Российский патриот, уже слегка устав  
от битв с масонами и даже заскучав  
от тягостной борьбы с картавою заразой,  
все пристальней глядит на сыновей Кавказа,  
что, честно говоря, имеет свой резон,  
но лично мне совсем не нравится. Кобзон  
отметил юбилей. Парнишка полупьяный  
«I need your love» в метро играет на баяне.  
В пивной Гандлевского и Витю Ковалю  
блатные пацаны избили. П.....ля  
витают в воздухе. А Говорухин бедный  
Россию потерял на склоне лет. Намедни  
еще была и вдруг — бац! Нету! Где искать?  
В Вермонте, может быть?.. Мне, в общем, наплевать  
на это все. Но есть предметы, коих важность  
не в силах отрицать ни Эпикур вальяжный,  
ни строгий Эпиктет. К примеру — колбаса!  
Иль водочка! Иль сыр! Благие небеса! —  
сколь дороги они и сколь они желанны!

И вот, пока в слезах за склокой Марианны  
с кичливою Эстер все Шильково следит,  
я отвращаю слух от пенья аонид,  
я, как Альбер, ропщу, как Германн, алчу злата,  
склоняясь с лейкою над грядкою салата.  
Как оной стрекозе, мне песнь нейдет на ум.  
Исполнен алчности, озлоблен и угрюм,  
прикидываю, как мне обрести богатство.  
Поэзия — увы — при всех своих приятствах  
низкорентабельна. Конечно, есть Симон  
Осиашвили и Ю.Ряшенцев — музон  
стихам их придает товарный вид. Ах, Игорь,  
когда б я тоже мог спесивости вериги  
отбросить и пора-порадоваться всласть!  
Ах, пуркуа па? Но нет. Не суждено попасть  
мне в сей веселый цех, где некогда царили  
Ошанин и Кумач, где Инна Гофф грустила  
над тонким колоском, и где миллионы роз  
Андрей Андреевич Раймонду преподнес.

Что делать? Может быть, реклама? Мне Кенжеев советовал. А что? Полночный мрак рассеяв, сияют Инкомбанк, «Алиса», МММ, у коей нет проблем, час пробивает Рэм. Да и завод «Кристалл» явился в новой славе. И Баковский завод. Да и пахучей «Яве» пора воспеть хвалу. К примеру — пара строк: петитом «If you smoke» и крупно «Smoke «Дымок» !!» Ну, это Рубинштейн придумал хитромудрый, а я ни тпру, ни ну. Упрямая лахудра все корчит девочку, кривит надменный рот. Ах, Муза, Музочка! Как будто первый год, дурилка, замужем. Пора бы стать умнее.

Короче. Отложив бесцельные затеи поэзии, хочу смиренной прозой впредь я зарабатывать. Ведь, если посмотреть на жизнь прозаика, как не прельститься! Бодро вернувшись утречком с излюбленного корта, засесть за новый цикл рассказов, за роман, который уж давно издатель вставил в план. Так, просидев в тиши родного кабинета пять или шесть часов, пиджак такого цвета зеленого надеть, что меркнет изумруд, и галстук в тон ему. А в ЦДЛе ждут друзья, поклонники. Уже заказан столик. Котлетка такова, что самый строгий стоик и киник не смогли б сдержать невольный вздох. Вот благоденствие прямое, видит Бог!

Но это все не вдруг! Покамест, Померанцев, чтоб растолкать толпу таких же новобранцев и в сей Эдем войти, на сей Олимп взойти, нам надобно стезю надежную найти. Что выгодней? Давай подумаем спокойно, отбросим ложный стыд, как говорил покойный маркиз де Сад. У нас, заметим кстати, он теперь властитель дум и выше вознесен столпов и пирамид. Пост-шик-модерн российский задрав штаны бежит за узником бастильским. Вообще-то мне милей другой французский зэк, воспетый Пушкиным, но в наш железный век

не платят СКВ за мирную цевницу.  
Чтоб рукопись могла перешагнуть границу,  
необходимо дать поболее того,  
что сытых бургеров расшевелит. Всего  
и надо-то, мой друг, описывать пиписьки,  
минет, оргазм, инцест, эрекцию и сиськи,  
лесбийскую любовь или любовь педрил,  
героем должен быть, конечно, некрофил,  
в финале не забыть про поеданье труп.  
А чтобы это все не выглядело глупо,  
аллюзиями текст напичкать. Вот рецепт.  
Несложно, вроде бы. Теперь его адепт  
уже Нагибин сам, нам описавший бойко,  
как мастурбировал Иосиф Сталин. Ой, как  
гнет роковой стыда хотелось свергнуть мне,  
чтоб в просвещении стать с веком наравне.  
Не получается. Ох, дикость наша, Игорь,  
ох, бескультурие, бля! Ведь сказано — нет книги  
безнравственной, а есть талантливая иль  
не очень — голубой британец так учил.  
Я ж это понимал еще в девятом классе!  
А нынче не пойму. Отточенные лясы  
все тщусь я прицепить и к Правде, и к Добру.  
Прощай же, СКВ! Моральности муру  
давно уже отверг и Лондон щепетильный,  
и ветреный Париж, и Гамбург изобильный.  
А строгий Тегеран, пожалуй, слишком строг...

Итак, даешь рубли! Посмотрим на лоток.  
Что нынче хавают? Так. Понял. Перспективы  
ясны. Наметим план. Во-первых, детективы:  
«Смерть в Красном Уголке», «Ухмылка мертвеца»,  
«Поручик Порох прав», «Кровавая маца»,  
«Хореныч и Кузьмич», «Так жить нельзя, Шарапов!»,  
«В пивной у Ковалея», «Блондинка из гестапо»,  
«Последний миллилитр», «Цикады», «Дело Швах»,  
«Каплан, она же Брик и Айседора», «Крах  
коньковской мафии», «Прозренье Левы», «Драма  
в Скотопригоньевске», «Месть Бусикеллы», «Мама  
на антресолях», «Кровь не пахнет, миссис Мэйн!»,  
«Видок и Фантомас», «Таинственный нацмен»,  
«Наследник Бейлиса», «Огонь на пораженье»,

или 600 секунд», «Сплетенье рук, сплетенье ног», «Красное пятно», «Не спи в саду, отец!», «Гроб на колесиках», «Крантец на холодец», «Фас, Томик, фас!» Хорош.

Ну а теперь романы под Пикюля, Дюма, а то и Эйдельмана: «Альков графини Д.», «Киприда и арак», «Мсье Синекур», «Вадим», «Перхуровский бивак», «Нос принца Фогельфрай», «Ошибка комиссара Ивана Швабрина», «Сын Вольфа», «Мсть хазарам», «Арзрумский сераскир», «Ксеркс или Иисус», «Средь красных голубой, или Святая Русь Нью-Йорку не чета», «Семейство Ченчи», «Платье поверх халата», «Мой курсив для дам», «Проклятье Марии Лаптевой», «Кавалергард на той, единственной гражданской», «Домострой и вольный каменщик».

Затем займусь научной фантастикой я и мистикой. Звучный возьму я псевдоним — Дар Ветер. Значит, так: «Конец звезды Овир», «Космический кунак», «Корсар Галактики», «Загадка фараона», «Манкурт и НЛО», «Посланники Плутона», «Альдебаран в огне», «Хохол на Альтаире», «Гробница Рериха», «Пульсар ТК-4», «Среди астральных тел», «Меж черных дыр», «Залет космических путан».

Здесь, Игорь, переход в раздел «Эротика»: «Физрук и лесбиянки», «В постели с отчимом», «Проделки вольтерьянки», «Шальвары Зульфии», «Наказанный Ловлас», «Маньячка в Гороно», «СВ иль восемь раз», «Бюст Ниночки», «Кошмар ефрейтора Ивашко», «Разгневанный Приап», «Чертог сиял», «Монашка и сенбернар», «Дневник Инессы», «Карандаш, Фрейд и Дюймовочка», «Всего лишь герпес!», «Паж на виноградниках Шабли», «Кровосмеситель», «Мечты сбываются, иль Конский возбудитель», «Ансамбль «Березка» и Краснознаменный хор»,

«Лаисин мелкоскоп», «Техничка и член-корр»,  
«Утехи Коллонтай», «Поэт в объятьях кафра»,  
«Вот так обрезали!», «Летающая вафля»,  
«Цыпленок уточку» и «Черный чемодан».  
Вот приблизительно в таком разрезе. План  
намечен. Цель ясна. За дело, что ли, Игорь?..

Карман мой пустотой пугает. Раньше фигой  
он переполнен был, теперь... А что теперь?  
Свобода! — как сказал Касторский Буба. Верь,  
товарищ, верь — Она вошла! Она прекрасна!  
Ужасен лик ее. И жалобы напрасны.  
Все справедливо, все! Коль хочешь рыбку съесть,  
оставь и панску спесь, и выпендрей, и честь.  
Не хочешь — хрен с тобой... Бесстыдно истекая  
слюной стяжательства, я голову теряю  
от калькуляции. Но, потеряв ее,  
вновь обретаю я спокойствие. Вранье,  
и глупости, и страх исчезли. Треволнения  
отхлынули. И вновь знакомое гуденье  
музыки чую я. Довольно. Стыдно мне  
на Вольность клеветать! В закатной тишине  
я на крыльце курю, следя за облаками  
как Колридж некогда, как Галич. Пустяками  
божественными я утешен и спасен.  
И бесом обуян, и ленью упоен.  
Не надо ничего. След самолета алый  
в лазури так хорош, что жизни будет мало,  
чтоб расплатиться мне. Бог Нахтигаль, прости!  
Помилуй мя и грех холопский отпусти!

Кабак уж полон. Чернь резвится и блатует.  
Прости, бог Нахтигаль, нас все еще вербуют  
для новых глупостей, и новая чума  
идет на нас, стучит в хрущевские дома,  
ослабившись. Так что ж нам делать? Ведь не Сирия  
вернулся в Ульдаборг, мсье Пьер все так же жирен,  
все так же юморит. Лощеный финансист,  
конечно, во сто крат милей, чем коммунист,  
и все же, как тогда от мрази густобровой,  
запремся, милый друг, от душки Борового!  
Бог ему в помощь! Пусть народ он одарит

«Макдональдсом». Дай Бог. Он пищу в нем варит. И нам достанется. И все же — для того ли уж полтора года лет твердят — «покой и воля» — пииты русские — «свобода и покой»! — чтоб я теперь их предал? За душой есть золотой запас, незываемая скала...

И в наш жестокий век нам, право, не пристало скулить и кукситься. Пойдем. Кремнистый путь все так же светел. Лес, и небеса, и грудь прохладой полнятся. Туман стоит над прудом. Луна огромная встает. Пойдем. Не будем загадывать. Пойдем. В сияньи голубом спит Шильково мое. Мы тоже отдохнем, немного погоди. В рябине филомела, ты слышишь, как тогда, проснулась и запела, и ветер ночной в листве плакучих ив шумит, стволы берез во тьме мерцают, и блестит бутылки горлышко у полусгнивших кладей. Душа полна тоской, покоем и прохладой. И черный Том бежит за тению своей красиво и легко, и над башкой моей, от самогоночки слегка хмельной, сияют светила вечные, и вдалеке играет (в Садах, наверное) гармоника. Пойдем. Не бойся ничего. Мы тоже отдохнем. Кремнистый путь блестит, окно горит в сельмаге. Вослед за кошкой Том скрывается в овраге.

*лето — осень 1992*

## II. ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТИ ДЕРЖАВИНА»

### 1. Парафразис

Блажен, кто видит и внимает!  
Хотя он тоже умирает.  
И ничего не понимает,  
и, как осенний лист, дрожит!  
Он Жириновского страшится,  
и может скурвиться и спиться,  
и, по рассказам очевидцев,  
подчас имеет бледный вид.  
Блажен озлобленный пиит.

Незлобивый блажен тем паче!  
В террасе с тещею судача,  
над вымыслами чуть не плача,  
блажен — хотя и неумен.  
Вон ива над рекой клонится,  
а вон химкомбинат дымится,  
и все физические лица  
блаженны — всяк на свой фасон,  
хотя предел им положён.

Блажен, кто сонного ребенка  
укрыв, целует потихоньку,  
полощет, вешает пеленки  
и вскакивает в темноте,  
дыханья детского не слыша,  
и в ужасе подходит ближе  
и слышит, слава Богу, слышит  
сопенье! И блаженны те  
и эти вот. И те, те, те.

А, может быть, еще блаженней,  
кто после семяизверженья  
во мгле глядит на профиль женин  
и курит. И блажен стократ  
муж, не входящий ни в советы,  
ни в ССП, ни в комитеты,

не вызываемый при этом  
в нарсуд или военкомат.  
Блажен и ты, умерший брат.

Блаженны дядьки, после пьянки  
играющие в футбольянку.  
Блажен пацан, везущий санки  
на горку и летящий вниз.  
Блажен мужик с подбитым глазом —  
легко отделался, зараза!  
Поэтому и маршал Язов  
блажен, и патриот Алкснис  
(ему же рифма — Бурбулис).

Блажен закончивший прополку,  
блажен глазеющий без толку  
в окно на «Жигули» и «Волги»,  
блажен, на утренней заре,  
поеживаясь и зевая,  
вотще взыскующий трамвая,  
блажен, кто дембельнулся в мае,  
кто дембельнулся в ноябре!  
Блажен и зверь в своей норе.

Блажен вкусивший рюмку водки,  
закусывающий селедкой,  
притискивающий молодку.  
Кино, вино и домино —  
блаженство тоже! Шуры-муры,  
затеянные нами сдуру,  
дают в итоге Шуру, Муру,  
а это — чудо, и оно  
зовется благом все равно!

А малосольный огуречик?  
А песня, слышная далече?  
А эти очи, перси, плечи?  
А этот зад? А этот свет,  
сквозь туч пробившийся? А эти,  
горящие в потоке света,  
стекляшки старого буфета?  
А этот комплексный обед?  
Ужели мало? Вовсе нет!



Блаженств исполнен мир гремучий.  
Почто ж гнездится страх ползучий  
и ненависть клубится тучей  
в душе несмысленной твоей?  
И что ты рек в сердцах, безумец?  
Однообразно, словно зуммер,  
гудит привычная угрюмость.  
Взгляни на птиц и на детей!  
Взгляни на лилии полей.

Твой краткий век почти что прожит.  
Прошедшее томит и гложет.  
Кто жил и мыслил, тот не может  
в душе не презирать себя.  
Претензий с каждым годом меньше.  
Долги растут. Детей и женщин  
учитывай. Еще блаженше  
ты станешь, боль и стыд стерпя,  
гордыню в сердце истребя.

Найди же мужество и мудрость,  
чтоб написать про это утро,  
про очи женщины-лахудры,  
распахнутый ее халат,  
про свет и шум в окне раскрытом,  
бумагой мокрою промытом,  
про Джойса на столе накрытом  
(и надо бы — да лень читать).  
Блажен, кто может не вставать.

Водопровод — блаженство тоже!  
Упругий душ утюжит кожу.  
Клокочет чайник. Ну так что же?  
Продолжим? — Ласковый Зефир  
листву младую чуть колышет.  
Феб светозарный с неба пышет.  
Блажен, кто видит, слышит, дышит,  
счастлив, кто посетил сей мир!

Грядет чума. Готовьте пир.

1994

## 2

Столь светлая — аж золотая! —  
весенняя зелень сквозит.  
Вверху облака пролетают,  
а снизу водичка блестит.

Направо, налево — деревья.  
Вот тут — ваш покорный слуга.  
Он смотрит направо, налево  
и вверх, где плывут облака.

Плывите! Я тоже поплыл бы,  
коль был бы полегче чуть-чуть,  
высокому ветру открыл бы  
уже поседевшую грудь!

И так вот — спокойный и чистый,  
лениво вертя головой,  
над этой землей золотистой...  
Такой вот, простите, херней,

такую вот пошлостью вешней,  
и мусорной талой водой,  
и дуростью клейкой и нежной  
наполнен мой мозг головной!

Спинной же сигналит о том, что  
кирзовый ботинок протек,  
что сладко, столь сладко — аж тошно,  
аж страшно за этот денек.

*август 1993*

## 3

Отцвела-цвела черемуха-черемуха,  
расцвела, ой, расцвела-цвела сирень!  
У Небесного Царя мы только олухи.  
Ах, лень-матушка, залетка моя лень.

По поднебесью шустришь, моя касаточка,  
в теплом омуте, ой, рыбка ты моя,  
змейка тихонькая в травушке-муравушке,  
лень-бесстыдница, заступница моя.

Ой, сирени мои, яблони-черемухи,  
ой ты дольче фар ниентишко мое!  
А чего? — да ничего — да ничегошеньки,  
ну ей-Богу, право слово, ничего!

Зелень-мелень, спирт «Рояль» разбавлен правильно.  
Осы с мухами кружатся над столом.  
Владислав Фелицианович, ну правда же,  
ну ей-Богу же, вторая соколом!

Как я бу... ой, и вправду как же буду я  
отвечать и платить за это всё?  
Ой сирень, ой ты счастьешко приبلудное,  
лоботрясное, ясное мое.

1993

#### 4

Не умничай, не важничай!  
Ты сам-то кто такой?  
Вон облака вальжжные  
проходят над тобой.  
Проходят тучи синие  
над головой твоей.  
А ты-то кто? — Вот именно!  
Расслабься, дуралей!

Не важничай, не нагличай!  
Чего тебе еще?  
Пивко в литровой баночке  
с соленьким лещом,  
с лучом косым сквозь стеклышко,  
сквозь пыльную листву.  
Уймись, мое ты солнышко!  
Ой, сглазишь — тьфу-тьфу-тьфу!

Не нагличай, не подличай!  
Гляди, разуй глаза!  
Ах, сколько тайной горечи  
в спокойных небесах!  
С какой издевкой тихою  
они глядят на нас.  
А ты все небу тыкаешь!  
Заткнулся б хоть сейчас!

Не подличай, не жадничай!  
Ишь цаца ты какой!..  
Блестит платформа дачная  
под летнею грозой.  
И с голубой каемочкой  
стоит весь Божий мир,  
опасный и беспомощный,  
замызганный до дыр

такими вот — не ерничай! —  
такими вот, как ты!..  
Дождись июльской полночью  
малюсенькой звезды.  
Текут лучи бесшумные  
миллионы лет назад.  
Они велят не умничать.  
И хныкать не велят.

*июль 1993*

## 5

Слишком уж хочется жить. Чересчур  
хочется жить. Стрекоза голубая,  
четырёхкрылая, снова дрожит  
над отраженьем своим... Я не знаю...

Пахнет шиповник. Трещит мотоцикл.  
А над Перхуровом синие тучи.  
А в магазин завезли дефицит.  
Слишком уж хочется. Было бы лучше,

было бы проще, наверно, закрыть  
эти глаза, задремать потихоньку,  
правила неуловимой игры  
не выяснять, не кидаться вдогонку

за пустяками летучими, вслед  
за мимолетным намеком на что-то,  
не проверять эту мелочь на свет...  
Завтра суббота. О, как же охота

жить!.. Трясогузка трепещет хвостом.  
Вновь опоздал Воскресенский автобус.  
Спорит Гогушин с соседом о том,  
прав или нет Хасбулатов. Попробуй

свыкнуться с мыслью, что ты никогда,  
о, никогда!.. Приближается ливень.  
В речке рябит и темнеет вода.  
Ивы шумят. И жена торопливо

с белой веревки снимает белье.  
Лист покачнулся под каплею тяжкой.  
Как же мне вынести счастье мое?  
С кем там ругается Лаптева Машка?

*осень 1993*

## **6. Вечернее размышление**

На самом деле все гораздо проще.  
Не так ли, Вольфганг? Лучше помолчим.  
Вон филомела горлышко полощет  
в сирени за штакетником моим.

И не в сирени даже, а в синели,  
люющей благовонья в чуткий нос.  
Гораздо все сложнее на самом деле.  
Утих совхоз. Пропел электровоз

на Шиферной — томительно и странно,  
как бы прощаясь навсегда. Поверь,

все замерло во мгле благоуханной,  
уже не вспыхнет огонь, не скрыпнет дверь.

И, может, радость наша недалече  
и бродит одиноко меж теней.  
На самом деле все гораздо легче,  
короче вдоха, воздуха нежней!

А там, вдали химкомбинат известный  
дымит каким-то ядом в три трубы.  
Он страшен и красив во мгле окрестной,  
но тоже общей не уйдет судьбы,

как ты да я. И так же славит Бога  
лягушек хор в темнеющем пруду.  
Не много ль это все? Не слишком ль много  
в конце концов имеется в виду?

Неверно все. Да я и сам неверен.  
То так, то этак, то вообще никак.  
Все зыблется. Но вот что характерно —  
и зверь, и злак, и человечек всяк,

являясь загадкой и символом,  
на самом деле дышит и живет,  
как иступленно просится на волю,  
как лезет в душу и к окошку льнет!

Как пахнет! Как шумит! И как мозолит  
глаза! Как осязается перстом,  
попавшим в небо! Вон он, дядя Коля,  
а вон Трофим Егорович с ведром!

А вон — звезда! А вон — зарей вечерней  
зажжен парник!... Земля еще тепла.  
Но зыблется уже во мгле вечерней,  
над гладью вод колышется ветла.

На самом деле простота чревата,  
а сложность беззащитна и чиста,  
и на закате дым химкомбината  
подскажет нам, что значит Красота.

Неверно все. Красиво все. Похвально  
почти что все. Усталая душа  
сачкует безнадежно и нахально,  
шалеет и смакует не спеша.

Мерцающей уже покрыты пленкой  
растений нежных грядки до утра.  
И мышья беготня за стенкой тонкой.  
И ветра гул. И пенье комара.

Зажжем же свет. Водой холодной тело  
гудящее обмоем кое-как...  
Но так ли это все на самом деле?  
И что же все же делать, если так?

1995

## 7

Чуть правее луны загорелась звезда.  
Чуть правее и выше луны.  
Грузовик прогудел посреди тишины  
и пропал в тишине навсегда.  
И в чешуйках пруда  
раздробилась звезда.  
И ничто не умрет никогда.

То ли Фет, то ли Блок, то ль Исаев Егор —  
просто ночь над деревней стоит.  
Просто ветер тихонько листы шевелит.  
Просто так. Так о чем говорить?  
И с каких это пор  
этот лепет и вздор  
увлажняют насмешливый взор?

Что ты, сердце? — Да так как-то все, ничего.  
— Ничего, так не надо щемить!  
Но, как в юности ранней вопрос половой,  
что-то важное надо решить.  
То ли все позабыть,  
то ли все сохранить.  
не пролить, не отдать ничего.  
То ль куда-то уйти, то ль остаться навек,

то ли лопнуть от счастья и слез,  
петь, что вижу, как из анекдота чучмек,  
нюхать ветер ночной во весь нос.  
И всего-то нужны  
две на палке струны.  
Сформулируй же точно вопрос!

Скажем так — почему это все, почему  
это все? Ну за что же, зачем?  
Есть ли Бог? Да не в этом ведь дело совсем!  
Он-то есть, но, видать по всему,  
Он не то чтобы нем,  
Он доступен не всем,  
я Его никогда не пойму.

Просто ивы красивы, и тополь высок,  
высотой почти до звезды.  
Просто пахнут и пахнут ночные цветы.  
Просто жизнь продолжается впрок.  
Просто дал я зарок  
пред лицом пустоты...  
Дайте срок, только дайте мне срок.

*август 1993*

## 8

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы  
При появлении Аврориных лучей,  
Но не отдаст тебе багряная денница  
Сияния протекших дней...

*К. Батюшков*

Словно маньяк с косой неумолимой,  
проходит Время. Шелестят года.  
Казалось бы — любовь не струйка дыма,  
но и она проходит навсегда.

Из жареной курятины когда-то  
любил я ножки, ножки лишь одне!  
И что ж? Промчались годы без возврата,  
и ножки эти безразличны мне.



Я мясо белое теперь люблю. Абрамыч,  
увы, был прав: всевидящей судьбе  
смешны обеты смертных и программы,  
увы, не властны мы в самих себе!

Опять-таки портвейн! Иль, скажем, пиво!  
Где ж та любовь? Чюрленис где и Блок?  
Года проходят тяжко и песиво,  
как оккупанта кованный сапог.

И нет как нет былых очарований!  
Аукаюсь. Зима катит в глаза.  
Жлоб-муравей готовит речь заране.  
Но, в сущности, он сам как стрекоза.

Все-все пройдет. И мне уж скоро сорок.  
А толку-то? Чего ж я приобрел?  
Из года в год выдумывая порох,  
я вновь «Орленок» этот изобрел!

И все понятней строки Мандельштама  
про холодок и темя... Ой-ой-ой!..  
А в зеркале — ну вылитый, ну прямо  
не знаю кто. Но сильно испитой.

И все быстрее года бегут, мелькают,  
как электричка встречная шумят.  
Все реже однокурсники икают.  
Я все забыл. Никто не виноват.

Я силюсь вспомнить. Так же вот когда-то  
грядущее я силился узнать.  
И так же, Боже мой, безрезультатно.  
Я все забыл. Ни зги не разобрать.

Одышка громче. Мускул смехотворен.  
Прошло, проходит и навек пройдет.  
Безумного Эдгара гадкий ворон  
на бюстик Ильича присел и ждет.

Сменился буйный кайф стихосложенья  
похмельем с кислым привкусом вины.

И половой любви телодвиженья  
еще желанны, но уже смешны

чуть-чуть. Чуть-чуть грустны. Уже не спорить  
с противником, а не иметь его  
хотелось бы, и, очевидно, вскоре  
уже не будет больше ничего.

Все-все пройдет, как пали Рим и Троя,  
как Феликс — уж на что железным был!  
Не прикасайся. Не буди былое.  
Там ржа и смрад, там тлен, и прах, и пыль!..

Лежу, пишу. Проходит время. В спину  
четвертый раз впивается комар.  
Опять свалился пепел на перину.  
Вот так вот и случается пожар.

Пора уж спать. Морфеевы объятия  
так сладостны. О сон, коллега мой!  
Душа тоскою смертною объята!  
Утешь меня. Побудь хоть ты со мной.

Спи-спи. Все-все пройдет. Труда не стоит.  
Все-все пройдет. Ты спи. Нормально все.  
Не обращай вниманья, все пустое.  
Все правильно. Ты спи. Чего тебе еще?..

. . . . .

Ты пробуждаешься, о Байя... С добрым утром!  
Еще роса не обратилась в пар,  
и облака сияют перламутром,  
и спит на тюле вздувшийся комар,  
а клен уж полон пением немудрым...

Проходит все — и хмель и перегар.  
Но пьяных баек жар не угасает!

*июль 1993*

## 9. Исторический романс

Что ты жадно глядишь на крестьянку,  
подбоченясь, корнет молодой,  
самогонку под всхлипы тальянки  
пригубивши безусой губой?

Что ты фертом стоишь, наблюдая  
пляску, свист, каблуков перестук?  
Как бы боком не вышла такая  
этнография, милый барчук!

Поезжай-ка ты лучше к мамзелям,  
иль к цыганкам на тройке катись!  
Приворотное, мутное зелье  
сплюнь три раза и перекрестись!

Ах, mon cher, ах, mon ange, охолонь ты!  
Далеко ли, вашбродь, до беды,  
до греха, до стыда, до афронта?  
Хоть о маменьке вспомнил бы ты!

Что ж напялил ты косоворотку,  
полюбуйся, mon cher, на себя!  
Эта водка сожжет тебе глотку,  
оплетет и задушит тебя.

Где ж твой ментик, гусар бесшабашный?  
Где Моэта шипучий бокал?  
Кой же черт тебя гонит на пашню,  
что ты в этой избе потерял?

Одари их ланкастерской школой  
и привычный оброк отмени,  
позабавься с белянкой веселой,  
только ближе не надо, ни-ни!

Вот послушай, загадка такая —  
что на землю бросает мужик,  
ну а барин в кармане таскает?  
Что, не знаешь? Скажи напрямик!

Это сопли, миленочек, сопли!  
Так что лучше не надо, корнет.  
Первым классом, уютным и теплым,  
уезжай в свой блистательный свет.

Брось ты к черту Руссо и Толстого!  
Поль де Кок неразрезанный ждет!  
И актеры к канкану готовы,  
Оффенбах пред оркестром встает.

Блещут ложи, брильянты, мундиры.  
Что ж ты ждешь? Что ты прешь на рожон?  
Видно, вправду ты бесишься с жиру,  
разбитною пейзажкой пленен!

Плат узорный, подсолнухов жменя,  
черны брови да алы уста.  
Ой вы сени, кленовые сени,  
ах, естественность, ах простота!

Все равно ж не полюбит, обманет,  
насмеется она над тобой,  
затуманит, завьюжит, заманит,  
обернется погибелью злой!

Все равно не полюбит, загубит!..  
Из острога вернется дружок.  
Искривятся усмешечкой губы.  
Ярым жаром блеснет сапожок.

Что топорщится за голенищем?  
Что так странно и страшно он свищет?  
Он зовет себя Третьим Петром.  
Твой тулупчик расползся на нем.

*август 1993*

## 10

Когда фонарь пристанционный  
клен близлежащий освещает  
и черноту усугубляет

крон отдаленных, ив склоненных,  
а те подчеркивают светлость  
закатной половины неба,  
оно ж неожиданно и нелепо  
воспоминанье пробуждает  
о том, что в полночь вот такую  
назад лет двадцать иль пятнадцать,  
когда мне было восемнадцать,  
нет, двадцать, я любил другую,  
но свет вот так же сочетался,  
и так же точно я старался  
фиксировать тоску и счастье,  
так вот, когда фонарь на рельсы  
наводит блеск, и семафоры  
горят, и мимо поезд скорый  
«Ташкент-Москва» пронесит окна,  
и спичка, осветив ладони,  
дугу прочертит над перроном  
и канет в темноте июльской,  
и хочется обнять и плакать  
и кануть, словно эта спичка,  
плевать, что эта электричка  
последняя, обнять и плакать  
и в темные луга и рощи  
бежать с певуньей ненаглядной,  
бежать, рюкзак суровой тещи  
оставив на скамейке — это  
пример использования света  
в неблагоприятных в общем целях  
воздействия на состоянье  
психическое, а, быть может,  
психофизическое даже  
реципиента.

*август 1996*

## 11

На слова, по-моему, Кирсанова  
песня композитора Тухманова  
«Летние дожди».  
Помнишь? — «Мне от них как будто лучше...

та-та-та-та... радуги и тучи  
будто та-та-та-та впереди»

Я припомнил это, наблюдая,  
как вода струится молодая.  
Дождик-дождик, не переставай!  
Лейся на лысеющее темя,  
утверждай, что мне еще не время,  
пот и похоть начисто смывай!

Ведь не только мне как будто лучше,  
а, к примеру, ивушке плакучей  
и цветной капусте, например.  
Вот он дождь — быть может, и кислотный.  
Радуюсь, на блестящие сотки  
смотрит из окна пенсионер.

Вот и солнце между туч красивых,  
вот буксует в луже чья-то «Нива»,  
вот и все, ты только погоди!  
Покури спокойно на крылечке,  
посмотри-замри, мое сердечко,  
вдруг и впрямь та-та-та впереди!

Вот и все, что я хотел напомнить.  
Вот и все, что я хотел исполнить.  
Радуга над Шиферной висит!  
Развернулась радуга Завета,  
преломилось горестное лето.  
Дальний гром с душою говорит.

1995

## 12

Меж тем отцвели хризантемы, а также  
пурпурный закат догорел  
за химкомбинатом, мой ангел. Приляг же,  
чтоб я тебе шепотом спел.

Не стану я лаской тебя огневою,  
мой друг, обжигать, утомлять,  
ведь в сердце отжившем моем все бывшее  
опять копошится, опять!

Я тоже в часы одинокие ночи  
люблю, грешным делом, прилечь.  
Но слышу не речи и вижу не очи,  
не плечи в сиянии свеч.

Я вижу курилку, каптерку, бытовку,  
я слышу команду «Подъем!»,  
политподготовку и физподготовку,  
и дембельский алый альбом.

Столовку, перловку, спецовку, ментовку,  
маевку в районном ДК,  
стыковку, фарцовку и командировку,  
«Самтрест», и «Рот Фронт», и «Дукат»!

И в этой-то теме — и личной, и мелкой! —  
кручусь я опять и опять!  
Кручусь поэтической Белкой и Стрелкой,  
покуда сограждане спят.

Кручусь Терешковой, «Союз-Аполлоном»  
над круглой советской землей,  
с последним на «Русскую водку» талоном  
кружусь над забытой страной!

«Чому я ни сокил?» — поют в Шепетовке,  
плывет «Сулико» над Курой,  
и пляшут чеченцы на пальчиках ловко,  
и слезы в глазах Родниной!

Великая, Малая, Белая Мама  
и прочая Родина-Мать!  
Теперь-то, наверно, не имешь ты сраму,  
а я продолжаю имать.

Здравши штаны, выбираю я «Пепси»,  
но в сердце — «Дюшес» и «Ситро»,  
пивнуха у фабрики имени Лепсе,  
«Агдам» под конфетку «Цитрон»!

Люблю ли я это? Не знаю. Конечно.  
Конечно же, нет! Но опять  
лиризм КВН-овский и КГБ-шный  
туманит слезою мой взгляд!

И с глупой улыбкой над алым альбомом  
мурлычу Шаинского я.  
Чому ж Чип и Дэйл не спешат мне на помощь,  
без сахара «Орбит» жуя?

Чому ж я ни сокил? Тому ж я не сокол,  
что каркаю ночь напролет,  
что плачу и прячусь от бури высокой...  
А впрочем, и это пройдет.

Тогда я спою тебе, ангел мой бедный,  
о том, как лепечет листва,  
как пахнет шиповник во мгле предрассветной,  
как ветхие гаснут слова,

как все забывается, все затихает,  
как чахнет пурпурный закат,  
как личная жизнь, не спеша, протекает  
и не обернется назад.

1995

### 13

Читатель, прочти вот про это —  
про то, что кончается лето,  
что я нехорош и немолод,  
что больше мне нравится город,  
хоть здесь и гораздо красивей,  
что дремлют плакучие ивы,  
что вновь магазин обокрали,  
а вора отыщут едва ли,  
что не уродилась картошка,  
что я умирал понарошку,  
но вновь как ни в чем не бывало  
живу, не смущаясь нимало,  
что надо бы мне не лениться,  
что на двадцать третьей странице  
забыт Жомини и заброшен,  
что скоро московская осень  
опять будет ныть и канючить  
со мной в унисон, что плакучий



я стал, наподобие ивы,  
что мне без тебя сиротливо,  
читатель ты мой просвещенный,  
и что на вопрос твой законный —  
А на хрен читать мне про это? —  
ответа по-прежнему нету.

*август 1996*

## 14

В окне такое солнце и такой  
листья, еще не тронутый, струенье,  
что кажется апрельским воскресеньем  
сентябрьский понедельник городской.

Но в форточку открытую течет  
великоросской осени дыханье.  
Пронизан легким светом расставанья  
совокупленья забродивший мед.

Спина моя прохладой залита.  
Твои колени поднятые — тоже.  
И пух золотой на загорелой коже,  
и сквозь ветвей лазури пустота.

И тополь наклоняется к окну,  
и, как подросток, дышит и трепещет,  
и видит на полу мужские вещи,  
и смятую постель, и белизну

вздымающихся ягодиц — меж гладких,  
все выше поднимающихся ног...  
Окурка позабытого дымок  
синеет и уходит без остатка

под потолок и в форточку — туда,  
куда ты смотришь, но уже не видишь.  
Конечностями мягкими обвитый,  
я тоже пропадаю без следа....

Застыть бы так — в прохладном янтаре,  
в подруге нежной, в чистом сентябре,

губами сжав колючую сережку.  
Но жар растет в низовьях живота.  
И этот полдень канет навсегда.  
Еще чуть-чуть. Еще совсем немножко.

1994

## 15. Вокализ

И вот мы вновь поем про осень.  
И вот мы вновь поем и пляшем  
на остывающей земле.  
Невинны и простоволосы,  
мы хрупкими руками машем,  
неразличимы лица наши  
в золотой передзакатной мгле.

Подходят юные морозы  
и смотрят ясными глазами,  
и мы не понимаем сами,  
мы просто стынем и поем,  
мы просто так поем про осень,  
сливаясь с зыбкими тенями,  
мы просто гибнем и живем.

И бродим тихими лесами.  
И медленные кружат птицы.  
А время замерло и длится  
и луч сквозь тучи тянет к нам.  
Неразличимы наши лица  
под гаснущими небесами.  
И иней на твоих ресницах,  
и тени по твоим стопам.  
А время замерло и длится,  
вершится осени круженье,  
и льдинки под ногой звенят.  
Струятся меж деревьев тени,  
и звезды стынут на ресницах,  
стихает медленное пенье  
и возвращается назад.

И юной смерти приближенье  
мы чувствуем и понимаем,

и руки хрупкие вздымаем,  
ища подругу среди теней,  
ища в тумане отраженье,  
лесами тихими блуждаем,  
и длится пенье и круженье,  
и звезды меркнут меж ветвей.

Мы пляшем в темноте осенней,  
а время зыбкое клубится,  
струятся медленные тени,  
смолкают нежные уста.  
И меркнут звезды, никнут лица,  
безмолвные кружатся птицы.  
Шагов не слышно в отдаленье.  
На льду не отыскать следа.

1994

## 16. Романс

Тут у берега рябь небольшая.  
Разноцветные листья гниют.  
Полусмятая банка пивная  
оживляет безжизненный пруд.

Утки-селезни в теплые страны  
улетели. И юность прошла.  
На заре постаренья туманной  
ты свои вспоминаешь дела.

Стыдно. Впрочем, не так чтобы очень.  
Пусто. Пасмурно. Поздно уже.  
Мокнет тридцать девятая осень.  
Где ж твой свет на восьмом этаже?

Вот итог. Вот изжога и сода.  
Первой тещи припомни слова:  
«Это жизнь!» Это жизнь. Так чего ты  
ждешь, садовая ты голова?

Это жизнь. Это трезвость похмелья.  
Самоварного золота дни.

Как неряшливо и неумело  
ты стареешь в осенней тени.

Не кривись — это вечная тема,  
поцелуя прощального чмок.  
Это жизнь, дурачок, то есть время,  
то есть, в сущности, смерть, дурачок.

Это жизнь твоя как на ладони —  
так пуста, так легка и грязна.  
Не готова уже к обороне  
и к труду равнодушна она.

И один лишь вопрос настоящий:  
с чем сравнить нас — с опавшей листвой  
или все-таки с уткой, летящей  
в теплый край из юдоли родной?

1994

## 17

Осень настала. Холодно стало.  
И в соответствии с этой листвой  
ёкнуло сердце, сердце устало.  
Нету свободы — но вот он, покой!

Вот он! Рукою подать — и коснешься  
древних туманов, травы и воды.  
И охолонешь. И не шелохнешься.  
И не поймешь, далеко ль до беды.

Осень ты осень, моя золотая!  
Что бы такого сказать о тебе?  
Клен облетает. Ворона летает.  
Мокрый окурок висит на губе.

Как там в заметках фенолога? — Птицы  
в теплые страны, в берлогу медведь,  
в Болдино Пушкин. И мне не сидится.  
Всё бы мне ныть, и бродить, и глазеть.

Так вот и скажем — в осеннем убранстве  
очень красивы поля и леса!  
Дачник садится в общественный транспорт  
и уезжает. И стынет слеза.

Бродит грибник за дарами природы.  
Акционерный гуляет колхоз.  
Вот и настала плохая погода.  
Сердце устало, и хлюпает нос.

Так и запишем — неброской краскою  
радует глаз Воскресенский район,  
грязью густою, парчой золотою  
и пустотой до скончанья времен.

Осень ты осень, пора листопада.  
Как это там — терема, Хохлома...  
Слабое сердце лепечет: «Не надо».  
Надо, лапуля, подумай сама.

Вот уж летят перелетные птицы,  
вот уж Гандлевский сажает чеснок.  
Осень. Пора воротиться, проститься.  
Плакать пора и сморкаться в платок.

Стелется дым. В среднерусских просторах  
я под дождем и под ветром бреду.  
Видно, прощаюсь с какой-то Матерой,  
или знаменья какого-то жду.

Слабое сердце зарапортовалось,  
забастовало оно, завралось.  
Вот и осталась мне самая малость.  
Так уж сложилось, вот так повелось.

Что тут поделаешь — холодно стало.  
Скворушка машет прощальным крылом.  
Я ж ни о чем не жалею нимало.  
Дело не в этом. И речь не о том.

*октябрь 1993*

### III. СОЛНЦЕДАР

Минувших дней младые были  
Пришли доверчиво из тьмы.  
А. Блок

*О.Хитруку и С.Кислякову*

Серо-черной, не очень суровой зимою  
в низкорослом райцентре средь волжских равнин  
был я в командировке. Звалось «Мечтою»  
то кафе, где сметаной измазанный блин,

отдающий на вкус то ли содой, то ль мылом,  
поедал я на завтрак пред тем, как идти  
в горсовет, где, склонясь над цифирью унылой,  
заполнял я таблицы. Часам к девяти

возвращались мы с Васькой в гостиницу «Волга»,  
накупивши сырков, беяшей и вина  
(в городке, к сожалению, не было водки).  
За стеною с эстампом была нам слышна

жизнь кавказцев крикливых с какою-то «Олгой»  
и с дежурною по этажу разбитной.  
Две недели тянулись томительно долго.  
Но однажды в ларьке за стеклянной «Мечтой»

я увидел — глазам не поверив сначала —  
«Солнцедар»!! В ностальгическом трансе торча,  
я купил — как когда-то — портфель «Солнцедара»,  
отстояв терпеливо почти два часа.

Возмущенный Василий покрыл матюками  
мой портфель и меня. Но смирился потом.  
И (как Пруста герой) по волнам моей памяти  
вмиг поплыл я, глоток за глотком...

И сейчас же в ответ что-то грянули струны  
самодельных электрогитар!  
И восстала из тьмы моя бедная юность,  
голубой заметался пожар!

Видишь — медленно топчутся пары в спортзале.  
Завуч свет не дает потушить.  
Белый танец. Куда ты, Бессонова Галя?  
Без тебя от портвейна тошнит!

Быстрый танец теперь. Чепилевский и Филька  
вдохновенно ломают шейка.  
А всего-то одна по ноль восемь бутылка,  
да и та недопита слегка!

Но, как сомовский Блок у меня над диваном,  
я надменно и грустно гляжу.  
Завуч, видно, ушла. В этом сумраке странном  
за Светланой К. я слежу.

И проходит Она в темно-синем костюме,  
как царица блаженных времен!  
Из динамиков стареньких льется «My woman!».  
Влагой терпкою я оглушен.

Близоруко прищурясь (очков я стесняюсь),  
в электрическом сне наяву,  
к шведской стенке, как Лермонтов, я прислоняюсь  
высоко задирая голову.

Я и молод, и свеж, и влюблен, и прыщами  
я не так уж обильно покрыт.  
Но все ночи и дни безнадежное пламя  
у меня меж ногами гудит!

И отчаянье нежно кадык мне сжимает,  
тесно сердцу в родимом доме.  
Надвигается жизнь. Бас-гитара играет.  
Блок взирает в грядущую тьму.

И никто не поймет. На большой переменке  
«Яву» явскую с понтом куря,  
этой формой дурацкой сортирную стенку  
отираю... Настанет пора,

и тогда все узнают, тогда все оценят,  
строки в общей тетради прочтут  
с посвящением С.К.... Но семейные сцены  
утонченную душу гнетут.

И русичка в очках, и физрук в олимпийке,  
и отец в португее, и весь  
этот мир, этот мир!.. О моя Эвридика!  
О Светлана, о светлая весть,

лунный свет, и пресветлое лоно, и дальше  
в том же духе — строка за строкой —  
светоносная Веста, и Сольвейг, и даже  
влага ласк!.. Но — увы — никакой

влаги ласк (кроме собственноручной) на деле  
наяву я еще не видал.

Эвридика была не по возрасту в теле,  
фартук форменный грудь не вмещал.

И, конечно, поверьями древними веял  
ниже юбки упругий капрон.  
Ей бы шлейф со звездами, и перья, и веер...  
В свете БАМовских тусклых знамен

мы росли, в голубом и улыбчивом свете  
«Огоньков», «Кабачков», КВН.  
Рдел значок комсомола на бюсте у Светы,  
и со всех окружающих стен

(как рентген, по словам Вознесенского) зырил  
человечный герой «Лонжюмо».  
Из Москвы возвращались с колбаской и сыром,  
с апельсинами — даже зимой.

Дети страшненьких лет забуревшей России,  
Фантомасом взращенный помет,  
в рукавах пиджаков мы портвейн проносили,  
пили, ленинский сдавши зачет.

И отцов поносили, Высоцкого пели,  
тротуары клешами мели.  
И росли на дрожжах, но взростеть не взрослели,  
до сих пор повзростеть не смогли...

ВИА бурно цвели. И у нас, натурально,  
тоже был свой ансамбль — «Альтаир».  
Признаюсь, и вокально и инструментально  
он чудовищен был. Но не жир



(как мой папа считал) был причиной того, что  
мы бесились — гормоны скорей  
и желание не соответствовать ГОСТу  
хоть чуть-чуть, хоть прической своей!

«Естердей», — пел солист, — «ол май трабыл...»,  
а дальше

я не помню уже, хоть убей.  
Фа мажор, ми минор... Я не чувствовал фальши.  
«Самсинг вронг...» Ре минор. Естердей.

А еще были в репертуаре пьёсенки  
«Но то цо» и «Червонных гитар».  
«Нэ мув ниц», например. Пели Филька и Венька.  
Я завидовал им. Я играл

на басу. Но не пел. Даже «Ша-ла-лу-ла-ла»  
подпевать не доверили мне.  
Но зато уж ревела моя бас-гитара,  
весь ансамбль заглушая вполне.

Рядом с Блоком прищиплены были к обоям  
переснятые Йоко и Джон,  
Ринго с Полом. Чуть ниже — пятно голубое,  
огоньковский Дега.... Раздражен

грохотанием магнитофонной приставки  
«Нота-М», появлялся отец.  
Я в ответ ему что-то заносчиво тьякал.  
Вот и мама. «Сынок твой — наглец!» —

сообщает ей папа. Мятежная юность  
не сдается. Махнувши рукой,  
папа с «Красной Звездой» удаляется. Струны  
вновь терзают вечерний покой.

А куренье?! А случай, когда в раздевалке  
завуч Берта Большая (она  
так за рост и фигуру свою прозывалась)  
нас застучала с батлом вина?!

(Между прочим, имелась другая кликуха  
у нее — Ява-100). До конца

буду я изумляться присутствию духа,  
доброте и терпению отца.

Я, конечно же, числил себя альбатросом  
из Бодлера. В раскладе таком  
папа был, разумеется, грубым матросом,  
в нежный клюв он дышал табаком!

(Это — аллегорически. В жизни реальной  
папа мой никогда не курил.  
Это я на балконе в тоске inferнальной,  
притаившись во мраке, дымил.)

Исчерпавши по политработе знакомый  
воспитательных мер арсенал,  
«Вот ты книги читаешь, а разве такому  
книги учат?» — отец вопрошал.

Я надменно молчал. А на самом-то деле  
не такой уж наивный вопрос.  
Эти книги — такому, отец. Еле-еле  
я до Пушкина позже дорос.

Эти книги (особенно тот восьмитомник)  
подучили меня, увели  
и поили, поили смертельной истомой,  
в петербургские бездны влекли.

Пусть не черная роза в бокале, а красный  
«Солнцедара» стакан и сырок,  
но излучины все пропитались прекрасно,  
лется дионисийский восторг.

Так ведь жили поэты? Умру под забором,  
обывательских луж избежав.  
А леса криптомерий и прочего вздора  
заслоняли постылую явь.

Смысл неясен, но томные звуки прекрасны.  
Темной музыкой взвихренный снег.  
Уводил меня вдаль Крысолов сладкогласый —  
дурнопьяный серебряный век.

Имена и названья звучали как песня —  
Зоргенфрей, Черубина и Пяст!  
Где б изданья сыскать их творений чудесных,  
дивных звуков наслушаться всласть!

И какими ж они оказались на деле,  
когда я их -увы — прочитал!  
Даже Эллис, волшебный, неведомый Эллис  
Кобылинским плешивым предстал!

Впрочем, надо заметить, что именно этот  
старомодного чтения круг  
ледяное презрение к власти Советов  
влил мне в душу. Читатель и друг,

помнишь? «Утренней почты» воскресные звуки,  
ждешь, что будет в конце, но опять  
Карел Готт! За туманом торопится Кукин.  
Или Клячкин? Не стоит гадать.

Пестимея Макаровна строила козны,  
к пятой серии Фрол прозревал,  
и опять Карел Готт! И совсем уже поздно  
соблазнительно ляжки вздымал

Фридрих Штадт незабвенный Палас. О детанте  
Зорин, Бовин и Цветов бубнят.  
Маслюков веселится и ищет таланты.  
Фигуристки красиво скользят.

Литгазета клеймит Солженицера, там же  
врет поэт про знакомство с Леже,  
и описана беспрецедентная кража,  
впрочем, стрелочник пойман уже.

И когда б не дурацкая страсть к зоргенфреям,  
я бы к слущким, конечно, припал.  
что, наверно, стыдней и уж точно вреднее,  
я же попросту их не читал.

Был я юношей смуглым со взором горящим,  
демонически я хохотал  
над «Совдепией». Нет, я не жил настоящим,  
Гамаюну я тайно внимал.

Впрочем, все эти бездны, и тайны, и маски  
не мешали щенячьей возне  
с Чепилевским, и Филькой, и Масиным Васькой  
в мутноватой сенёжской волне.

Или сёнежской, как говорили в поселке,  
расположенном на берегу,  
огороженном — чтобы дары Военторга  
не достались лихому врагу.

Старшеклассники, мы с дембелями якшались,  
угощали их нашим вином,  
и, внимая их рассказням, мы приучались  
приблатненным болтать матерком.

Как-то так уживалась Прекрасная Дама  
с той, из порнографических карт,  
дамой пик с несуразно большими грудями.  
На физ-ре баскетбольный азарт

сочетался с тоскою, такую тоскою,  
с роковою такую тоской,  
что хоть бейся о стенды на стенах башкою  
или волком Высоцкого вой!

Зеркала раздражали и усугубляли  
отвращение к жизни, хотя  
сам я толком не выбрал еще идеала,  
перед старым трельяжем вертась, —

иль утёнченность, бледность, круги под глазами,  
иль стальной Гойко Митича торс,  
или хаер хипповский с такими очками,  
как у Леннона?.. Дамы и герлс,

и индейские скво, и портовые шлюхи,  
и Она... Но из глуби зеркал  
снова коротко стриженный и близорукий  
толстогубый подросток взирал.

Но желаннее образов всех оставался  
тот портрет над диваном моим.

Как старался я, как я безбожно кривлялся,  
чтоб хоть чуточку сблизиться с ним!

Как я втягивал щеки, закусывал губы!  
Нет! Совсем не похож, хоть убей.  
И еще этот прыщ на носу этом глупом!  
Нет, не Блок. Городецкий скорей.

Все равно! Совпадений без этого много!  
Ну, во-первых, родной гарнизон  
не случайно почти что в имени Блока  
был по воле судеб размещен!

Не случайно, я знал, там, за лесом зубчатым  
километрах в пяти-десяти  
юный Блок любовался зловецим закатом  
в слуховое окно! И гляди —

не случайно такие ж багровые тучи  
там сияют, в безбрежность маня!  
Как Л. Д. Менделееву, друг наилучший  
не случайно увел у меня

Свету К..! И она не случайно похожа  
толщиной на предтечу свою!  
Не случайно, отбив ее четвертью позже,  
я в сонетах ее воспою!

Воспою я в венках и гирляндах сонетов,  
вирелэ, вилланелей, секстин,  
и ронделей, и, Боже Ты мой, триолетов,  
и октав, и баллад, и терцин!

И добьюсь наконец! Незабвенною ночью  
на залитой луной простыне  
Света К., словно Вечная Женственность, молча,  
отбивалась и льнула ко мне!

А потом отдалась! Отдавалась грозиво!  
Отдается и ждет, что возьму!  
Я стараюсь, я пробую снова и снова,  
я никак не пойму, почему!

Что же делать? Ворота блаженства замкнуты!  
Ничего, как об стенку горох.  
Силюсь вспомнить хоть что-нибудь из «Кама сутры».  
Смотрит холодно сомовский Блок.

Чуть не плачу уже. Час разлуки все ближе.  
Не выходит. Не входит никак...

. . . . .

И во сне я шептал: «Подними, подними же!  
Подними ей коленки, дурак!» —

и проснулся на мгlistом, холодном рассвете  
безнадежного зимнего дня.  
И двойник в зазеркалии кафельном встретил  
нехорошей ухмылкой меня.

За стеной неумные азербайджанцы  
принимались с утра за свое  
и кричали, смеясь, про какую-то Жанку...  
Что ж ты морщишься, счастье мое?

Душ принять не хватало решимости. Боже!  
Ну и рожал! Саднило в висках.  
И несвежее тело с гусиною кожей  
вызывало брезгливость и страх.

И никак не сбивалась седая щетина.  
В животе поднималась возня.  
И, смешавшись во рту, никотин с поморином,  
как два пальца, мутили меня.

Видно, вправду пора приниматься за дело,  
за пустые делишки свои.  
Оживал коридор. Ретрансляция пела  
и хрипела заре о любви.

#### IV. ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТИ ДЕРЖАВИНА»

18

От благодарности и страха  
совсем свихнулася душа,  
над этим драгоценным прахом  
не двигаясь и не дыша.

Над драгоценным этим миром,  
над рухлядью и торжеством,  
над этим мирозданием сирым  
дрожу, как старый скопидом.

Гарантий нет. Брюллов свидетель.  
В любой момент погаснет свет,  
порвутся радужные сети,  
прервется шествие планет.

Пока еще сей шарик нежный  
лежит за пазухой Христа,  
но эти ризы рвет прилежно  
и жадно делит сволота.

В любой момент задует ветер  
сию дрожащую свечу,  
сияние вишневых веток,  
и яблоню, и алычу,

протуберанцев свистопляску,  
совокупления поток,  
и у Гогушиных в терраске  
погаснет слабый огонек!  
Погаснет мозг. Погаснут очи.  
Погаснет явский «Беломор».  
Блистанье полярной ночи  
и луга Бежина костер.

Покамест полон мир лучами  
и неустойчивым теплом,

прикрой ладошкой это пламя,  
согрей дыханьем этот дом!

Не отклоняйся, стой прямее,  
а то нарушится баланс,  
и хрустнет под ногой твоею  
сей Божий мир, сей тонкий наст,

а то нарушишь равновесье —  
и рухнет в бездны дивный шар!  
Держись, душа, гремучей смесью  
блаженств и ужасов дыша.

*август 1993*

## 19

*Саше Бродскому*

Да нет же! Со страхом, с упреком  
Гляжу я на кухне в окно.  
Там где-то, на юго-востоке,  
стреляют, как будто в кино.

Ползет БТР по ущелью,  
но не уползет далеко.  
Я склонен к любви и веселью.  
Я трус. Мне понять нелегко,

что в этом мозгу пламенеет?  
Кем этот пацан одержим?  
Язык мой веселый немеет.  
Клубится Отечества дым.

И едкими полон слезами  
мой взгляд. Не видать ни хрена.  
Лишь страшное красное знамя  
ползет из фрейдистского сна.

И пошлость в обнимку со зверством  
за Правую Веру встает,



и рвется из пасти разверстой  
волшебное слово — «Народ!»

Как я ненавижу народы!  
Я странной любовью люблю  
прохожих, и небо, и воды,  
язык, над которым корплю.

Тошнит от народов и наций,  
племен и цветастых знамен!  
Сойдутся и ну разбираться,  
кем именно Крым покорен!

Семиты, хамиты, арийцы —  
замучишься перечислять!  
Куда ж человечiku скрыться,  
чтоб ваше мурло не видать?

Народы, и расы, и классы  
страшны и противны на вид,  
трудящихся мерзкие массы,  
ухмылка заплывших элит.

Но странною этой любовью  
люблю я вот этих людей,  
вот эту вот бедную кровлю  
вот в этой России моей.

Отдельные лица с глазами,  
отдельный с березой пейзаж  
красивы и сами с усами!  
Бог мой, а не ваш и не наш!

Я чайник поставлю на плитку,  
задерну на кухне окно.  
Меня окружают пожитки,  
любимые мною давно, —

и книжки, и кружки, и ложки,  
и плюшевый мишка жены.

Авось проживем понемножку.  
И вправду — кому мы нужны?

В Конькове-то вроде спокойно.  
Вот только орут по ночам.  
Стихи про гражданские войны  
себе сочиняю я сам.

Я — трус. Но куда же я денусь.  
Торчу тут, взирая на страх...  
Тяжелый и теплый младенец  
притих у меня на руках.

*1993*

## 20

Наш лозунг — «А вы мне не тыкайте!»  
«А ты мне не вякай!» — в ответ.  
Часы и столетия тикают,  
консенсуса нету как нет.

Фиксатый с похмелья кобенится.  
Очкастый потеет и ждет.  
Один никуда тут не денется,  
другой ни хрена не поймет.

В трамвае, в подсобке, в парламенте  
все тот же пустой диалог.  
Глядишь — кто-то юный и пламенный  
затешил бикфордов шнурок.

Беги, огонечек, потрескивай,  
плутай по подвалам, кружи...  
Кому-то действительность мерзкая,  
но мне-то — сестра моя жизнь!

Да тычьте вы, если вам тычется!  
Но дайте мне вякнуть разок —  
по-моему, меж половицами  
голубенький вьется дымок.

*июль 1993*

Чайник кипит. Телек гудит.  
Так незаметно и жизнь пролетит.

Жизнь пролетит, и приблизится то,  
что атеист называет Ничто,

что Баратынский не хочет назвать  
дочерью тьмы — ибо кто тогда мать?

Выкипит чайник. Окислится медь.  
Дымом взвьется бетонная твердь.

Дымом развеются стол и кровать,  
эти обои и эта тетрадь.

Так что покуда чаевичай, друг...  
Время подумать, да все недосуг.

Время подумать уже о душе,  
А о другом поздновато уже.

Думать. Лежать в темноте. Вспоминать.  
Только не врать. Если б только не врать.

Вспомнить, как пахла в серванте халва,  
и подобрать для серванта слова.

Вспомнить, как дедушка голову брил.  
Он на ремне свою бритву точил.

С этим ремнем по общаге ночной  
шел я, качаясь. И вспомнить, какой

цвет, и какая фактура, и как  
солнце, садясь, освещало чердак..

Чайник кипел. Примус гудел.  
Толик Шмелев мастерил самострел.

1995

Видимо, можно и так: просвистать и заесть,  
иль, как Набоков, презрительно честь предпочесть.

Многое можно, да где уж нам, дуракам.  
Нам не до жиру и не по чину нам.

Нам бы попроще чего-нибудь, нам бы забыть.  
Нам бы зажмурить глаза и слух затворить.

Спрятаться, скорчиться, змейкой скользнуть в траву.  
Ниточкой тонкой вплестись в чужую канву.

Нам-то остатки сладки, совсем чуть-чуть.  
Перебирать, копошиться и пыль смахнуть.

Мелочь, осколки, бисер, стеклянный прах.  
Так вот Кощей когда-то над золотом чах.

Так вот Гобсек и Плюшкин... Да нет, не так.  
Так лишь алкаш сжимает в горсти трояк.

Цены другие, дурень, и деньги давно не те.  
Да и ларек закрыли. Не похмелиться тебе.

1995

### 23. Русофобская песня

Снова пьют здесь, дерутся и плачут.  
Что же все-таки все это значит?  
Что же это такое, Господь?  
Может, так умерщвляется плоть?  
Может, это соборность такая?  
Или это ментальность иная?..

Проглотивши свой общий аршин,  
пред Россией стоит жидовин.  
Жидовин ( в смысле — некто в очках)  
ощущает бессмысленный страх.

Выпей, парень, поплачь, подерися,  
похмелися и перекрестися,  
«Я ль не свойский?» — соседей спроси,  
и иди по великой Руси!  
И отыщешь царевну-лягушку,  
поцелуешь в холодное брюшко,  
и забудешь невесту свою,

звуки лютни и замок зубчатый,  
крест прямой на сверкающих латах  
и латыни гудящий размах...  
Хорошо ль тебе, жид, в примаках?  
Тихой ряской подернулись очи.  
Отдыхай, не тревожься, сыночек!..  
Спросит Хайдеггер: «Что есть Ничто?»  
Ты ответишь: «Да вот же оно.»

1996

## 24

Щекою прижавшись к шинели отца —  
вот так бы и жить.  
Вот так бы и жить — ничему не служить,  
заботы забыть, полномочья сложить,  
и все попеченья навек отложить,  
и глупую гордость самца.  
Вот так бы и жить.

На стриженном жалком затылке своем  
ладонь ощутить.  
Вот так быть любимым, вот так бы любить,  
и знать, что простит, что всегда защитит,  
что лишь понарошку ремнем он грозит,  
что мы не умрем.

Что эта кровать, и ковер, и трюмо,  
и это окно  
незыблемы, что никому не дано  
нарушить сей мир и сей шкаф платяной  
подвинуть. Но мы переедем зимой.  
Я знаю одно,

я знаю, что рушится все на глазах,  
стропила скрипят,  
что релятивизмом кичится Пилат,  
а стены, как в доме Нуф-Нуфа, дрожат,  
и в щели ползет торжествующий ад,  
хохочущий страх,

что хочется грохнуть по стеклам в сердцах,  
в истерику впасть,  
что легкого легче предать и проклясть  
в преддверье конца.  
И я разеваю слюнявую пасть,  
чтоб вновь заглотить галилейскую снасть,  
и к ризам разодранным Сына припасть,  
и к ризам Отца!

Прижавшись щекою, наплакаться всласть  
и встать до конца.

1995

## 25

За все, за все. Особенно за то, что  
меня любили. Господи, за все!  
Считай, что это тост. И с этим тостом  
когда-нибудь мое житье-бытье

окончится, когда-нибудь, я знаю,  
придется отвечать, когда-нибудь  
ответу я. Пока же, дорогая,  
дай мне поспать, я так хочу уснуть,

обняв тебя, я так хочу, я очень  
хочу, и чтоб на завтра не вставать,  
а спать и спать, и чтобы утром дочка  
и глупый пес залезли к нам в кровать.

Понежиться еще, побаловаться,  
какие там мучения страстей!  
Позволь мне, Боже мой, еще остаться  
в числе Твоих избранных гостей.

Спасибо. Ничего не надо больше.  
Ума б хватило и хватило б сил.  
Устрой лишь так, чтоб я как можно дольше  
за все, за все Тебя благодарил.

*12 августа 1996*

## 26

Отцвела черемуха.  
Зацвела сирень.  
Под крылечко кошечка  
спряталась в тень.

Крошечка Хаврошечка,  
как тебе спалось?  
Отчего ты плакала?  
С бодуна небось?

Уточки прокрякали.  
Матюкнулся дед.  
Ничего особого  
за душою нет.

Я иду без обуви,  
улыбаюсь я.  
Босоногой стаечкой  
мчится малышня.

Получи же саечку,  
парень, за испуг!  
Ну и за невежливость  
получи, мой друг!

Все идет по-прежнему  
страшно и смешно.  
Поводов достаточно.  
Доводов полно.

Всяко дело статочно,  
ведь Христос воскрес.

Хоть поверить этому  
невозможно здесь.

День грядет неведомый.  
Шмель летит, жужжа.  
В пятках спит убогая,  
мелкая душа.

Всяко дело побоку!  
Грейся, загорай!  
«Горькую имбирную»  
пивом запивай!..  
Так вот, балансируя,  
балуясь, блажа,  
каясь, зарекаясь,  
мимо гаража,

мимо протекающих  
тихоструйных вод  
я иду с авоською.  
Так вот. Так-то вот.

1994



## V. МОЛИТВА

Господь мой, в утро Воскрешенья  
вся тварь воскликнет: «Свят, Свят, Свят!»  
Что ж малодушные сомненья  
мой мозг евклидов тяготят?

Я верю, все преобразится,  
и отразишься Ты во всем,  
и Весть патмосского провидца  
осуществится, и Добром

исполнится земля иная,  
иное небо. Но ответь —  
ужели будет плоть святая  
и в самой вечности терпеть

сих кровопийц неумолимых,  
ночных зловещих певунов,  
бессчетных и неуловимых, —  
я разумею комаров?

Ужели белые одежды  
и в нимбе светлое лицо  
окрасят кровию, как прежде,  
летучих сонмы наглецов?

И праведник, восстав из гроба,  
ужель вниманье отвлечет  
от арфы серафима, чтобы  
следить назойливый полет?

Средь ясписа и халкидона  
ужель придется нам опять  
по шее хлопать раздраженно  
и иступленно кисть чесать?

Что говорю? О Боже Правый!  
О Поядающий Огонь!  
Конечно, ты найдешь управу  
на комара, и сгинет он!

Бесчисленные вспыхнут крылья  
бенгальским праздничным огнем  
и, покружившись, легкой пылью  
растают в воздухе Твоем.

И больше никогда, мой Боже,  
овечек пажити Твоей  
не уязвит, не потревожит  
прозрачный маленький злодей.

Аминь. Конечно, справедливы  
Твои решенья. Но прости,  
я возропщу! Они ж красивы!  
Они изящны и просты.

Клещи, клопы — иное дело!  
Глисты — тем более, Господь!  
Но это крохотное тело,  
но эта трепетная плоть!

И легкокрылы, длинноноги,  
и невесомы, словно дух,  
бесстрашные, как полубоги,  
и тонкие, как певчий слух,

они зудят и умирают,  
подобно как поэты мы,  
и сон дурацкий прерывают  
среди благодатной летней тьмы!

Их золотит июньский лучик,  
они чернеют, посмотри,  
на фоне огнекрылых тучек  
вечерней шильковской зари!

Не зря ж их пел певец Фелицы  
и правнук Кукин восхвалял,  
и, отвернувшись от синицы,  
младой Гадаев воспевал!

Так если можно, Боже правый,  
яви безмерность Сил Твоих —

**в сиянии небесной славы  
преобрази Ты малых сих!**

**Пусть в вечности благоуханной  
меж ангелов и голубей  
комар невинный, осиянный  
пребудет с песенкой своей!**

**Меж ангелов и трясогузок,  
стрекоз, шмелей и снегирей  
его рубиновое пузо  
пусть рдеет в вечности Твоей**

**уже не кровию невинной,  
но непорочным тем вином,  
чей вкус предчувствуется ныне  
в закатном воздухе Твоем!**

*лето 1993*

## VI. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЛЕНЫ БОРИСОВОЙ

Золотит июльский вечер  
облаков края.  
Я тебя увековечу,  
девочка моя.

Я возьму и обозначу  
тишиной сквозной  
тонкий, звонкий и прозрачный  
милый образ твой.

Чтоб твое изображение  
легкое, как свет,  
мучило воображение  
через сотни лет,

чтоб нахальные хорей,  
бедные мои,  
вознесли бы, гордо рея,  
прелести твои,

чтоб нечаянная точность  
музыки пустой  
заставляла плакать ночью  
о тебе одной,

чтоб иных веков мальчишка  
тешил сам себя,  
от лодыжки до подмышки  
прочитав тебя,

от коленок до веснушек  
золотых твоих,  
от каштановой макушки  
до волос срамных,

от сосков почти девичьих  
до мальчишских плеч,  
до ухваток этих птичьих  
довежу я речь!

И от кесарева шрама  
до густых бровей,  
до ладошки самой-самой  
ласковой твоей,

и от смехотворных мочек  
маленьких ушей  
до красивых, узких очень,  
узеньких ступней,

от колготок и футболки  
до слепых дождей,  
от могилы до конфорки  
у плиты твоей,

от зарплаты до зарплаты  
нету ни хрена!  
Ты, как Муза, глуповата,  
ты умней меня.

От полочки до полочки  
горя нет как нет,  
игры, смехи, штучки-дрючки,  
вкусный винегрет!

От Коньково до вечерней  
шильковской звезды  
обведу чертою верной  
всю тебя! И ты

в свете легковесных строчек,  
в окруженье строф,  
в этой вечности непрочной  
улыбнешься вновь —

чтоб сквозь линзы засияли  
ясные глаза,  
чтоб стояла в них живая  
светлая слеза,

чтоб саднила и звенела  
в звуковом луче

та царапина на левом  
на твоём плече,

чтоб по всей Руси могучей  
гордый внук славян  
знал на память наш скрипучий  
шилковский диван,

чтоб познал тоску и ревность  
к счастливому мне  
мастер в живописстве первой  
в Родской стороне!

Ne exegi monumentum!  
Вовсе не о том! —  
чтоб струилось тело это  
в языке родном,

чтобы в сумраке, согретом  
шепотом моим,  
осветилась кожа эта  
светом неземным,

чтобы ты не умирала,  
если я сказал,  
чтоб яичница шкварчала,  
чайник ворковал,

чтобы в стеклах секретера  
так же, как сейчас,  
отраженье бы глядело  
той звезды на нас,

чтобы Томик заполошный  
на полночный лифт  
лаял вечно и истошно,  
тленье победив,

чтобы в точности такой же  
весь твой мир сверкал,  
как две капельки похожий,  
сквозь живой кристалл —

в час, когда мы оба (обе?),  
в общем, мы уйдем  
тем неведомым, загробным,  
призрачным путем,

тем путем печальным, вечным,  
в тень одну слиясь,  
безнадежно, скоротечно  
скроемся из глаз

по долинам асфоделей,  
в залетейской мгле,  
различимы еле-еле  
на твоей земле.

Тем путем высоким, млечным  
нам с тобой идти...  
Я тебя увековечу.  
Ты не бойся. Спи.

*июль 1993*

## VII. ДВАДЦАТЬ СОНЕТОВ К САШЕ ЗАПОВОЙ

1

Любимая, когда впервые мне  
ты улыбнулась ртом своим беззубым,  
точней, нелепо растянула губы,  
прожженный и потасканный вполне,

я вдруг поплыл — как льдина по весне,  
осклабившись в ответ светло и тупо.  
И зазвучали ангельские трубы  
и арфы серафимов в вышине!

И некий голос властно произнес:  
«Incipit vita nova!» Глупый пес,  
потягиваясь, вышел из прихожей

и ткнул свой мокрый и холодный нос  
в живот твой распеленутый. О Боже!  
Как ты орешь! Какие корчишь рожи!

2

И с той январской ночи началось!  
С молодых ногтей алкавший Абсолюта  
(нет, не того, который за валюту  
мне покупать в Стокгольме довелось,

который ныне у платформы Лось  
в любом ларьке поблескивает люто),  
я, полусонный, понял в ту минуту,  
что вот оно, что все-таки нашлось

хоть что-то, неподвластное ухмылкам  
релятивизма, ни наскокам пыльным  
дионисийских оголтелых муз!

Потом уж, кипятя твои бутылки  
и соски под напев «Европы — плюс»,  
я понял, что еще сильней боюсь.



### 3

Но в первый раз, когда передо мной  
явилась ты в роддоме (а точнее —  
во ВНИЦОЗМИРе), я застыл скорее  
в смущенье, чем в восторге. Бог ты мой!

Как странен был нездешний облик твой.  
А взгляд косящий и того страннее.  
От крика заходясь и пунцовея,  
три с лишним килограмма чуть живой

ничтожной плоти предо мной лежало,  
полметра шевелилось и взывало  
бессмысленно ко мне, как будто я

сам не такой же... Мать твоя болтала  
с моею тещей. И такси бежало,  
как утлый челн, в волнах небытия.

### 4

И понял я, что это западня!  
Мой ужас, усмиренный только-только,  
пошел в контрнаступление. Иголки,  
булавки, вилки, ножницы, звеня,

к тебе тянулись! Всякая фигня  
опасности таила втихомолку.  
Розетка, кипятик, котенок Борька,  
балкон и лифт бросали в дрожь меня.

А там, во мгле грядущей, поджидал  
наильник, и Невзоров посылал  
ОМОН на штурм квартиры бедной нашей,

АЭС взрывались... Бездны на краю  
уже не за свою, а за твою  
тончайшую я шкуру трясся, Саша.

Шли дни. Уже из ложки ела ты.  
 Вот звякнул зуб. Вот попка округлилась.  
 Ты наливалась смыслом, ты бесилась,  
 агукала средь вечной пустоты.

Шли съезды. Шли снега. Цвели цветы.  
 Цвел диатез. Пеленки золотились.  
 Немецкая коляска вдаль катилась.  
 И я забыл мятежные мечты.

Что слава? Что восторги сладострастья?  
 Что счастье? Наверно, это счастье.  
 Ты собрала, как линзочка, в пучок

рассеянные в воздухе ненастном  
 лучи любви, и этот свет возжег —  
 да нет, не уголь — лампадный фитилек.

Чтоб как-то структурировать любовь,  
 избрал я форму строгую сонета.  
 Катрена два и следом два терцета.  
 abba. Поэтому морковь

я тру тебе опять. Не прекословы! —  
 как Брюсов бы сказал. Морковка эта  
 полезнее котлеты и конфеты.  
 abba. И вот уже свекровь

какая-то ( твоя, наверно) прется  
 в злосчастный стих. ssdc. Бороться  
 нет сил уж боле. Зря суровый Дант

не презирал сонета. Остается  
 dd, Сашура. Фант? Сервант? Сержант?  
 А может, бант? Нет, лучше бриллиант.

## 7

Я просыпаюсь оттого, что ты  
 пытаешься закрасить мне щетину  
 помадою губной. И так невинно  
 и нагло ты хохочешь, так пусты

старанья выбить лживое «Прости,  
 папулечка!», так громогласно псина  
 участвует в разборке этой длинной,  
 и так полны безмозглой чистоты

твои глаза, и так твой мир огромен,  
 и неожидан, и притом укромен,  
 и так твой день бескраен и богат,

что даже я, восстав от мутной дремы,  
 продрав угрюмый и брезгливый взгляд,  
 не то чтоб счастлив, но чему-то рад.

## 8

Ну вот твое Коньково, вот твой дом  
 родной, вот лесопарк, вот ты на санках,  
 визжа в самозабвеньи, мчишься, Санька,  
 вот ты застыла пред снеговиком,  
 мной вылепленным. Но уже пушком  
 покрылись вербы, прошлогодней пьянки  
 следы явила вешняя полянка,  
 и вот уж за вертлявым мотыльком

бежишь ты по тропинке. Одуванчик  
 седеет и лысеет, и в карманчик  
 посажен упирающийся жук.

И снова тучи в лужах ходят хмуро...  
 Но это все с тобою рядом, Шура,  
 спираль уже, а не порочный круг.

«Ну что, читать?.. У лукоморья дуб  
зеленый... Да, как в Шильково... золотая...  
ну золотая значит, вот такая,  
как у меня кольцо...» Остывший суп

десертной ложкой тыча мимо губ,  
ногой босою под столом болтая,  
обедаешь, а я тебе читаю  
и раздражаюсь потихоньку. Хлюп —

картошка в миску плюхается снова.  
Обценное я сглатываю слово.  
«Ешь, а не то читать не буду, Саш!..

...на дубе том...» — «Наш Том?!» — «Не понимаю,  
что наш?» — Но тут является, зевая,  
легчайший на помине Томик наш.

## 10

Как описать? Глаза твои красивы.  
Белок почти что синий, а зрачок  
вишневый, что ли? черный? Видит Бог,  
стараюсь я, но слишком прихотливы

слова, и, песнопевец нерадивый,  
о видео мечтаю я, Сашок.  
Твоих волос густой и тонкий шелк  
рекламе уподоблю я кичливой

«Проктер энд Гэмбл» продукции. Атлас  
нежнейшей кожи подойдет как раз  
рекламе «Лореаль» и мыла «Фриско».

Прыжки через канаву — «Адидас»  
использовать бы мог почти без риска.  
А ласковость и резвость — только «Вискас»!

## 11

Ты горько плачешь в роковом углу.  
Бездарно притворяясь, что читаю  
Гаспарова, я тихо изнываю,  
прервав твою счастливую игру

с водой и рафинадом на полу.  
Секунд через 15, обнимая  
тебя, я безнадежно понимаю,  
как далеко мне, старому козлу,

до Песталоцци... Ну и наплевать!  
Тебя еще успеют наказать.  
Охотников найдется выше крыши.

Подумаешь, всего-то полкило.  
Ведь не со зла ж и явно не назло.  
Прости меня. Прижмись ко мне поближе.

## 12

Пройдут года. Ты станешь вспоминать.  
И для тебя вот эта вот жилплощадь,  
и мебель дээспэшная, и лошадь  
пластмассовая, и моя тетрадь,

в которой я пытаюсь описать  
все это, и промокшие галоши  
на батарее, и соседский Гоша,  
и Томик, норовящий подремать

на свежих простынях, — предстанут раем.  
И будет светел и недосыгаем  
убогий, бестолковый этот быт,

где с мамой мы собачимся, болтаем,  
рубли считаем, забываем стыд.  
А Мнемозина знай свое творит.

## 13

Уж полночь. Ты уснула. Я сижу  
на кухне, попивая чай остывший.  
И так как мне бумаги не хватило,  
я на твоих каракулях пишу.

И вот уже благодаря у-шу  
китаец совладал с нечистой силой  
по НТВ, а по второй — дебилы  
из фракции какой-то. Я тушу

очередной окурок. Что там снится  
тебе, мой ангел? Хмурая столица  
ворочается за окном в ночи.

И до сих пор неясно, что случится.  
Но протянулись через всю страницу  
фломастерного солнышка лучи.

## 14

«Что это — церковь?» — «Это, Саша, дом,  
где молятся.» — «А что это — молиться?»  
Но тут тебя какая-то синица,  
по счастью, отвлекает. Над прудом,

над дядьками с пивком и шашлычком  
крест вновь открытой церкви золотится.  
И от ответа мне не открытись.  
Хоть лучше бы оставить на потом

беседу эту. «Видишь ли, вообще-то,  
есть, а верней, должно быть нечто, Саш,  
ну, скажем, трансцендентное... Об этом

уже Платон... и Кьеркегор... и наш  
Шестов...» Озарены вечерним светом  
вода и крест, и опустевший пляж.

## 15

Последние лет 20 — 25  
так часто я мусолил фразу эту,  
так я привык, притиснув в танце Свету  
иль в лифте Валю, горячо шептать:

«Люблю тебя!», что стал подозревать,  
что в сих словах иного смысла нету.  
И все любви, канувшие в Лету,  
мой скепсис не могли поколебать.

И каково же осознать мне было,  
что я... что ты... не знаю, как сказать.  
Перечеркнув лет 20 — 25,

Любовь, что движет солнце и светила,  
свой смысл мне хоть немножко приоткрыла,  
и начал я хоть что-то понимать.

## 16

Предвижу все. Набоковский фрейдист  
хихикает, ручки потирает,  
почесывает пах и приступает  
к анализу. А концептуалист,

чьи тексты чтит всяк суций здесь славист,  
плечами сокрушенно пожимает.  
И палец указательный вращает  
у правого виска метафорист.

Сальери в «Обозренье книжном» лает,  
Моцарт зевок ладошкой прикрывает,  
на добычу стремится пародист,

все громче хохот, шиканье и свист!  
Но жало мудрое упрямо возглашает,  
как стан твой пухл, и взор твой как лучист!

17

Где прелести чистой образцы  
представлены на удивленья мира —  
Лаура, леди смуглая Шекспира,  
дочь химика, которую певцы,

Прекрасной Дамы верные жрецы,  
делили, и румяная Пленира —  
туда тебя отеческая лира  
перенесет. Да чтут тебя чтецы!

А впрочем, нет, сокровище мое!  
Боюсь, что это вздорное бабье  
тебя дурному, доченька, научит.

Не лучше ли волшебное питье  
с Алисой (Аней) выпить? У нее  
тебе, по крайней мере, не наскучит.

18

Промчались дни мои. Так мчится буйный Том  
за палкою, не дожидаясь крика  
«Апорт!», и в нетерпении великом  
летит назад с увесистым дрючком.

И вновь через орешник напролом,  
и лес, и дол наполнив шумом диким —  
и топотом, и тьявканьем, и рыком,  
не ведая, конечно же, о том,

что вот сейчас докурит сигарету  
скучающий хозяин, и на этом  
закончится игра, и поводок

защелкнется, а там, глядишь, и лето  
закончено, а там уже снежок...  
Такая вот метафора, дружок.



И если нам разлука предстоит...  
 Да что уж «если»! Предстоит, конечно.  
 Настанет день — твой папа многогрешный,  
 неверный муж, озлобленный пиит,

лентай и врун, низвергнется в Аид.  
 С Франческой рядом мчась во мгле кромешной,  
 вспомню я и профиль твой потешный,  
 и на горшке задумчивый твой вид!

Но я взмолюсь, и Сила Всеблагая  
 не сможет отказать мне, дорогая,  
 и стану я являться по ночам

в окровавленном саване, пугая  
 обидчиков твоих. Сим сволочам  
 я холоду могильного задам!

Я лиру посвятил сюсюканью. Оно  
 мне кажется единственно возможной  
 и адекватной (хоть безумно сложной)  
 методой творческой. И пусть Хайям вино,

пускай Сорокин сперму и говно  
 поют себе усердно и истошно,  
 я буду петь в гордыне безнадежной  
 лишь слезы умиления все равно.

Не граф Толстой и не маркиз де Сад,  
 князь Шаликов — вот кто мне сват и брат  
 (кавказец, кстати, тоже)!.. Голубочек

мой сизенький, мой миленький дружочек,  
 мой дурачок, Сашочек, ангелочек,  
 кричи «Ура!» Мы едем в зоосад!

*январь — май 1995*

## VIII. ИСТОРИЯ СЕЛА ПЕРХУРОВА (компиляция)

— Что, сынку, помогли тебе  
твои ляхи?  
Андрей был безответен.  
Н. Гоголь

Июльский полдень золотой  
жужжал в сто тысяч жал.  
Не одолев и полпути,  
взопрел я и устал.

Натерла сумка мне плечо,  
кроссовки ноги жгли,  
лицо запорошила пыль  
иссушенной земли.

С небес нещадно шпарил зной.  
Вострянск навозом пах.  
Промчался мимо самосвал,  
взметнув дорожный прах.

И было ясно мне вполне,  
что зря я пиво пил.  
Тяжелый и нечистый хмель  
К земле меня клонил.

Ни облачка, одни дымки  
химкомбинатских труб.  
Ворона нехотя клюет  
сухой лягушкин труп.

И в поте своего лица,  
в нетрудовом поту  
по рытвинам моей страны  
я медленно бреду.

Вокруг земля — на сотни верст,  
на сотни долгих лет  
картошкой покрыта вся.  
Чего ты? Дай ответ!

Молчит, ответа не дает  
прибитый глинозем.  
Проселочный привычный путь  
до боли незнаком.

Так был здесь соловьиный сад  
или вишневый сад?  
Вон бабка роется в земле,  
задравши к небу зад.

Терпи, казак, молчи, козел,  
мы скоро отдохнем.  
Одноколейку перейдя,  
в сосновый бор войдем.

Пахуча хвоя и смола,  
дремотна тишина,  
и даже песня комаров  
блаженна и нежна.

И вот перхуровский погост.  
Вот тут и прикорнем  
под сенью скорбною листвы,  
под бузины кустом.

Вот тут они лежат себе,  
их много набралось —  
кто собирал на монастырь,  
кто созидал совхоз.

Вот тут из арматуры крест,  
тут — рыжая звезда,  
с фаянсовым портретом тут  
бетонная плита.

Пластмасса неживых цветов  
теряет цвет и вид.  
Цветет сорняк, гниет скамья,  
стакан в траве блестит.

Там дальше — мрамор и гранит  
и об одном крыле

надгробный ангел накренен  
к кладбищенской земле.

Развалины часовни там,  
там ржавчина и тлен.  
Рисунки местных пацанов  
куражатся со стен.

Я слышу Клии страшный глас —  
невдалеке звучат  
людская молвь, стеклянный чок,  
ненормативный мат.

Кого-то поминали там,  
глotalи самогон.  
«Ты не стреляй в меня, братан!» —  
орал магнитофон.

Дремота сковывала страх,  
преображала бред.  
Мне в общем-целом все равно  
на склоне этих лет.

И стало трудно понимать  
усталому уму.  
Уснул лирический герой,  
и снится сон ему:

Пресветлый Аполлин и вы, парнасски сестры,  
Священным жаром днесь возжгите праздный дух!  
Да лиры по струнам легко летают персты,  
Да мусикийский звон переполняет слух!  
Полночных стран певцу даруйте мощь словесну,  
Приятство звучных рифм и выдумку чудесну,  
Струи кастальской блеск, прохладу, чистоту.  
Избавьте росский штиль от подлых выражений,  
Но и превыспренних пустых воскликновений,  
Депро и Флакка мне даруйте простоту.  
Я днесь потщусь воспеть не ярый огонь Беллоны,  
Не гром хотинских стен, не крови смертной ток,

Не ратей русских мощь, презревшу все препоны,  
Низринувшу во прах кичливых готфов рог.  
Не дмитесь впредь, орды агарян богомерзских,  
Вострепещи, сармат безстудный и предерзский,  
Петровой дщери меч коварных поразит!  
Да воспоеет его Пиндар краев славянских!  
А мне довлеет петь утех приют селянских,  
Натуры мирной сень, как древле Теоокрит.

Позорищем каким восхищен дух пиита?  
Куда меня влечет звук лирных струны?  
Се кров семейственный героя знаменита,  
Почившего от бурь на лоне тишины.  
Здесь не прельщают взор ни злато, ни мусия,  
Роскошества вельмож, суетствия драгие  
Не блещут в очи вам, но друг невинных нег  
Обрящет здесь покой от жизни коловратной,  
Здесь не Меркурия — Гигею чтут приятно,  
Любовь здесь властвует и незлобивый смех.

Воитель Севера, в походах поседель,  
Хозяин встретит вас с почтенною женой,  
Вас дочерей его окружит сонм веселый —  
О младость резвая, Астреи век златой!  
В сем доме не в чести повесы-петиметры,  
У коих во главах одни витают ветры,  
Афея злобного не встретишь, ни ханжу,  
Жеманниц не найдешь и философов модных.  
Здесь вкуса здорового и чувствий благородных,  
Веселостей живых приют я нахожу.

А стол уж полон яств — тут стерлядь золотая,  
Пирог румяно-желт, зелены щи, каймак,  
Багряна ветчина и щука голубая,  
Хвалынская икра, сыр белый, рдяный рак.  
Морозом искрятся хрустальные крафины,  
Токай и Мозель здесь и лоз кубанских вины,  
С гренками пиво тож и добрый русский квас!  
Рабы послушливы, хозяйка добронравна,  
Беседа без чинов всегда легка, забавна.  
Диван пуховый ждет после обеда вас.

Иль библиотека, обитель муз и граций,  
Где дремлет сонм творцов, дививших прежде мир, —

Анакреонт, Софокл, Ешилл, Лукан, Гораций,  
Тибулл, Овидий, Плавт, Терентий и Омир,  
Мальгерб и Молиер, Корнелий вдохновенный,  
Камоэнс, Шекеспир, хотя непросвещенный, —  
Для пользы, для забав сии мы книги чтем.  
А из гостиной песнь приятна долетает,  
Музыкой томною слух нежит, услаждает,  
Перстам девическим покорен, т и х о г р о м.

Иль выдем в дивный сад, где естества красоты  
Художеством де Лиль усугубить возмог.  
Цереры зрим плоды, румяные щедроты,  
Там белизну лилей, там пурпурный щипок.  
Зефира легкого прохладно повеванье,  
Сильфиды пестрых крыл между дерев мельканье  
Желанны, сладостны чувствительным сердцам.  
Там дальше зелень рощ, там стклянных вод струенье,  
Там тучны пажити, там нив золотых волнение,  
Там пастушка свирель, сыны натуры там

Живут в довольствии, Царю и Богу верны,  
Там добродетельми украшен Силян Флор,  
И в низком звании мы зрим дела примерны,  
А скарედны сердца не скроет злат убор.  
Невинность, праведность — вот истинно богатство,  
Богобязненность — вот высший дар небес!  
Там девы юные бычка с парнями пляшут,  
Лукавый дворник там, колдун, обманщик, сват,  
Там на московской славной на заставе,  
там на московской славной на заставушке,  
ай на московской славной на заставе  
ай-то стояли святорусские богатыри  
еще стояло их двенадцать святорусских  
а как по ней-то по московской по заставушке  
а и пехотою никто да не прохаживал  
ай на добром кони никто тут не проезживал  
ай серый зверь еще да не прорыскивал  
ай черный ворон птица не пролетывал  
ай через эту славную-то заставу  
а еще едет поляничница удалая  
а удалая поляничница великая  
а и конь-то у нее да как сильна́ гора

ай она-то на кони как сenna копна  
у ней шапочка надета на головушку  
ай пушистая-то шапочка завесиста  
спереду-то не видать личка румяного  
и сзади-то не увидать шеи белой  
она ехала собака насмеялася  
не сказала божьей помочи богатырям  
она едет прямоезжею дороженькой  
прямоезжею дорожкой к стольно-Киеву  
она ездит по раздольицу чисту полю  
она ездит поляница сама тешится  
на правой руки у ней-то соловей сидит  
на левой руки у ней да жавроленочек  
она кличет-выкликает поединщика  
супротив себя да кличет супротивника  
говорит она собака таковы слова  
ай приеду я во славный стольный Киев-град  
ай разорю-то я славный стольный Киев-град  
а я чернедь мужичков-тых всех повырублю  
а и божьи церкви я да все на дым спущу  
а Владимиру-то князю голову срублю  
со Опраксией его да с королевичной  
еще старья казак да Илья Муромец  
говорил он тут Илюша таковы слова  
ай же братица мои да вы крестовые  
ай богатыря вы славны святорусские  
ай удалая дружинушка хоробрая  
на бою-то мне-ка смерть да не написана  
я поеду во раздольицо чисто поле  
поотведаю я силушку великую  
да у той у поляницы у удаю  
говорил ему Добрынюшка Микитинец  
ай же старья казак да Илья Муромец  
ты поедешь во раздольицо чисто поле  
да на тыя на удары на тяжелыи  
да й на тыя на побоища на смертныи  
нам куда велишь итти да й куда ехати?  
говорил-то им Илья да таковы слова  
ай же братица мои да вы крестовые  
поезжайте-тко раздольицом чистым полем  
заезжайте вы на гору на высокую  
посмотрите вы на драку богатырскую

надо мною будет братцы безвременице  
так поспейте ко мне братица на выруку  
меж тем

светало. Первый луч денницы  
Сквозь туч холодных заалел.  
Уже султан домашней птицы  
Кири-ку-ку свое пропел,  
Уж поселянин, пробудившись  
На Божий Лик перекрестившись,  
Принялся за привычный труд,  
Уже морозные узоры  
В сиянии младой Авроры  
Горят на окнах и кладут  
Свой блеск на штофные обои,  
На Бахуса стекло пустое,  
На стол, на изразцы печи,  
Уже при свете дня свечи  
Бледнеет позабытый пламень,  
И наконец, промолвив: «Аmen!»,  
Арсений встал. «Пора, мой друг!  
Я еду. Свидимся ли снова?  
Мой жребий темен. Если вдруг...  
А впрочем, Двинский, что ж такого?  
Взгляни внимательно вокруг  
На скуку поприща земного!  
Все та ж комедия — глупец  
Злодею рабствует послушно,  
Везде ярем или венец,  
Везде тиран иль малодушный!  
Предрассуждений вечных тьму  
Изгнать не в силах Просвещение,  
Тельцу золотому одному  
Кадят людские поколения.  
Дурачествам тщеты мирской  
Сполна я отдал дань. Довольно!  
Как английский изгнанник вольный,  
Оставля мирный кров родной,  
Судьбу вверяя бурным волнам,  
Не вижу я о чем жалеть,  
Чем дорожить, зачем терпеть  
Существенности тяжелой бремя,  
И кстати ль мне в мои лета



Мечтаньям вновь предаться? Время,  
Как ветер холодный, без следа  
Развеяло туман желаний,  
И юных грез, и упований.  
И ныне — что осталось мне?  
Ужель с душою охладелой  
В докучной лени, в полусне  
Без мыслей, без страстей, без дела  
Остаток жизни провождать?  
Нет, друг мой, рок судил иное.  
И не тебе меня держать.  
В философическом покое  
Я не способен прозябать.  
Ты помнишь, Двинский, юность нашу?  
Клико, Мозта и Аи  
Сверкали пенные струи,  
Переполняя жизни чашу.  
Лобзанья ветрёных армид,  
Младого дружества обеты,  
Гражданства строгие заветы,  
Напевы чистых аонид,  
Любовь к отечеству святая,  
Покой уединенных дум,  
Вакхических собраний шум —  
Все было внове! Присягая  
На Вольности алтарь принесть  
Цвет юности, готова мечь  
Тиранам, не остыв от хмеля,  
Кинжалом Занда иль Лувеля  
Мы потрясали.... Но давно  
Все это сделалось смешно.  
А все ж мудрей всего на свете  
Мне кажется строка из Гете:  
«Gib meine Jugend mir zurück!»  
За сим расстанемся, мой друг.  
Будь счастлив, мой ленивец славный,  
Скептический анахорет,  
Отступник света и сует,  
Философ острый и забавный!  
Ты выбрал, Двинский, часть благую,  
В халат и феску облачась,  
В глуши селенья заключась,

Смеясь на бестолочь людскую,  
Вкушая сладостный досуг  
С покалом, чубуком и книгой,  
Стеснительных условий иго  
Ты рано сбросил, милый друг.  
Средь бригадирш обоих полов,  
Средь злобных сплетней, пошлых вздоров  
Ты сохранил и ум, и вкус,  
И благосклонность строгих муз.  
Простимся ж, брат!..» И вот уж тройка  
В пыли морозной мчится бойко.  
Арсений сумрачно глядит  
На открывающийся вид.  
Его Автомедон брадатый,  
В тулупе, с красным кушаком,  
Еще изрядно под хмельком,  
Знай погоняет. Вот уж хаты  
Последние мелькнули, лес  
Сосновый поредел, исчез  
Из виду купол колокольни,  
И резвые выносят кони  
Героя в поле. Мерный бег,  
Песнь заунывная возницы,  
Блестающий на солнце снег  
Так усыпительны. Клонится  
Ко сну Арсений мой, согрет  
Под мехом полости медвежьей...  
Он пробужден незапно. Вежды  
Открыв, он видит — солнца свет  
Все так же ясен, небо сине,  
По белой стелется долине  
След санный ровно. Но ямщик  
Уже коней останавливает  
И, снявши шапку, обращает  
К нему свой оробелый лик:  
«Ох, барин! Лучше б воротиться!»  
— «Зачем же?» — «Долго ль до беды!»  
— «Да толком говори!» — «Кружится  
Пороша в поле». — «Нам езды  
Не боле двух часов осталось.  
Езжай!».. Но вскоре разыгралась  
Метель. Все небо облегла,

Нависла туча снеговая.  
Окрестность поглотила мгла.  
Свирепый ветер завыл, играя.  
Смешались небо и земля.  
Сокрылись снежные поля.  
Метель и злится, и рыдает,  
И воем сердце надрывает.  
«Ну, барин, все, беда — буран!  
Дороги нет!» — «Да ты, брат, пьян!  
Пошел!» — «Ой, барин, нету мочи!  
Мы сбились. Коням тяжело.  
Летучий снег слипает очи.  
Следы сугробом занесло.  
Что толку нам кружиться доле...»  
И кони встали. Что там в поле?  
А кто их знает. В чистом поле  
во чистом поле во раздолье  
во том-ка во раздольице чистом поли  
едет старья казак да Илья Муромец  
еще едет он Илья да на добре коне  
посмотреть на поляницу на удалую  
как-то ездит поляница во чистом поли  
она ездит поляница сама тешится  
она шуточки-то шутит не великий  
ай кидает она палицу булатную  
ай под облаку она да под ходячую  
ай одною рúкой палицу подхватывают  
как пером-то лебединым поигрывают  
подходил-ка тут Илья он ко добру коню  
да он пал Илья на бедра лошадины  
говорил-то как Илья он таковы слова  
ай же бурушко мой миленький косматенький  
послужи-тко мне еще да верой-правдою  
верой-правдой послужи-тко неизменною  
ай по-старому служи еще по-прежнему  
не отдай меня ты ворогу в чистом поли  
чтоб срубил мне супротивник буйну голову  
ай садился тут Илья он на добра коня  
й он наехал поляницу во чистом поли  
поляницы он подъехал со бела лица  
поляницу становил он супротив себе  
говорил он поляницы таковы слова

ай же славна поляница ты уда́лая  
ай же надобно нам силушкой померяться  
приударим-ка во палицы булатный  
ай тут силушку друг у́ друга отведаем  
они съехались с чиста поля с раздолыца  
й приударили во палицы булатнии  
они били друг друга да не жалухою  
да со всей своей со силы богатырскойей  
у них палицы в руках да й погибалися  
ай по маковкам они да й отломалися  
они друг друга́ не сшибли со добрых коней  
не убили они дру́г друга не ранили  
й никоторого местечка не кровавили  
говорили-то они да промежду собой  
как нам силушку друг у́ друга отведати?  
приударить надо в копьа в муржамецкии  
тут мы силушку друг у́ друга й отведаем  
припустили они дру́г к другу добрых коней  
приударили во копьа муржамецкии  
они дру́г друга-то били не жалухою  
не жалухою-то били по белым грудям  
так у них в руках-то копьа погибалися  
а й по маковкам-то копьа отломилися  
они дру́г друга не сшибли со добрых коней  
не убили они дру́г друга не ранили  
никоторого местечка не кровавили  
говорили-то они тогда промеж собой  
надо биться-то нам боем-рукопашкою  
тут у дру́г друга мы силушку отведаем  
как сходили они тут да со добрых коней  
опустилися на матушку сыру землю  
стали биться они боем-рукопашкою  
еще эта поляничца уда́лая  
а й весьма она была да зла-догадлива  
й учена была бороться об одной руке  
подходила-то она да к Илье Муромцу  
подхватила-то Илью да на косу добру  
да спустила-то на матушку сыру землю  
да ступила Илье Муромцу на белу грудь  
она брала-то рогатину звериную  
заносила-то свою да руку правую  
заносила она руку выше головы

опустить хотела руку ниже пояса

меж тем

уж вечер наступил, а спор в гостиной  
Не затихал. Петр Павлович, зардевшись  
И как-то странно щурясь, продолжал:  
«Вы спрашивали о моих принсипах?  
Ну что ж, извольте! С некоторых пор  
Я, слава Богу, перестал стыдиться  
Выказывать свой образ мыслей. Да-с,  
Я — западник! Я предан всей душою  
Европе, то есть, говоря точнее,  
Цивилизации! Не усмехайтесь,  
Я повторю — ци-ви-ли-за-ци-и!» —  
Он произнес отчетливо, отдельно  
И с ударением каждый слог. — «Одно  
Лишь это слово чисто и понятно,  
А все другие — слава ли, народ,  
Славянство, воля ваша, пахнут кровью.»  
— «Да Вы Россию любите ль?» — «Скажу  
Цитатою — Odi et amo!» — «Полно,  
Уж вы и до латыни добрались!» —  
Не выдержала Марья Николавна. —  
Пора уже и честь нам знать. Прощай,  
Матвей Иванович!» Но Панин объявил,  
Что хочет проводить гостей хотя бы  
До Шилькова... Закат уж догорел.  
Ночь наступила, но прогретый воздух  
Был тих и ароматен. Быстро, ровно  
Неслась карета. Панин ехал рысью,  
Держась рукой за дверцу. Лизин профиль,  
И россыпь первых звезд, меж черных крон  
Мелькающих, и мерный стук копыт,  
И где-то справа огонек костра —  
Все это, гармонически сливаясь  
В щемящую мелодию, сближало  
Все больше их, сердца переполняя  
Отрадою и грустью. Эта ночь  
Навек соединила их, и каждый  
Знал — что бы ни случилось, никогда  
Они уже не смогут позабыть  
То ощущение полного слиянья,  
Которое дается человеку

Один лишь раз... А на пути обратном  
Счастливым Панин, зная наперед,  
Что этой ночью он заснуть не сможет,  
Зайти решил в Притынный кабачок.  
Не каждый из читателей, должно быть,  
Имеет представление о сельских  
Великорусских кабаках. Устройство  
Их чрезвычайно просто — из сеней  
Вы попадаете в избу, перегородка  
Пространство делит надвое. Две-три  
Пустые бочки, лавки, и на полках  
Различных штофов множество. Степенный  
За стойкой целовальник, Пров Назарыч,  
Известный всей округе. Панин знал  
Его довольно коротко... В тот вечер  
В Притынном кабаке гулял с друзьями  
Из Жиздры рядчик, славящийся пеньем,  
Которого Ардашева сынок  
Звал *tenor'om di grazia*. Войдя,  
Матвей увидел рядчика, стоящим  
Перед большой компанией. Он пел  
С какой-то залихватскою, веселой,  
Простонародной удалью и страстью.  
Он пел, и перед слушателем живо  
Вставали сцены русской жизни — вот  
над Муромцем лихая поляница  
да та ли поляничница удалая  
она руку заносила выше головы  
опустить хотела руку ниже пояса  
на бою-то смерть Илье и не написана  
ай по божьему еще ли по велению  
у ней рученька в плече да застоялася  
во ясных очах у ней да помутился свет  
она стала у богатыря выпрашивать  
ай скажи-тко ты богатырь святорусский  
тебя как-то молодца да именём зовут  
звеличают удалого по отечеству?  
еще старья казак-от Илья Муромец  
разгорелось его сердце богатырское  
й он смахнул Илья своей да правой ручушкой

да он сшиб-то поляницу со белой груди  
он скорешенько скочил на резвы ноженьки  
он хватил как поляницу на косу бодру  
да спустил он ю на матушку сыру землю  
да ступил он поляницы на белы груди  
ай берет-то он Илья да свой булатный нож  
ай здынул-то он ручку выше головы  
опустить он хочет ручку ниже пояса  
ай по божьему еще ли по велению  
права ручушка в плечи-то остоялася  
в ясных очушках еще да помутился свет  
тут он стал у поляничуцы выпрашивать  
да й скажи-тко поляница попроведай-ка  
ты коёй земли скажи да ты коёй литвы  
еще как-то поляничку именём зовут  
удалую звеличают по отечеству?  
говорила поляница й горько плакала  
ты удаленький дородный добрый молодец  
ай ты славныя богатырь святорусский  
когда стал ты у меня да и выпрашивать  
я про то тебе ведь стану и высказывать  
есть я родом из земли да из тальянской  
у меня есть родна матушка честна вдова  
да честна вдова она ведь все калачница  
калачи она пекла меня воспитала  
ай до полного она да ведь до возрасту  
тут иметь я стала силушку великую  
й отпускала меня мать да на святую Русь  
поискать себе еще да родна батюшку  
поотведать мне себе да роду племени.  
ай тут старый-от казак да Илья Муромец  
он скорешенько скочил да со белой груди  
ай он брал-то ю за ручушки за белые  
ай он брал-то ю за перстни золоченые  
он здынул-то ю со матушки сырой земли  
а становил-то он ю на резвы ноженьки  
на резвы ножки он ставил супротив себя  
целовал ю во уста он во сахарные  
называл ю себе дочерью любимую  
а когда, я был во той земле тальянскою

три году служил у короля тальянского  
да я жил тогда у той да у честной вдовы  
у честной вдовы у той да у калачницы  
у ней спал я на кроватке на тесовой  
да на той-то на перинке на пуховой  
у самой ли у нее да на белой груди  
й они сели на добрых коней разъехались  
да по славному раздольицу чисту полю  
еще старый-от казак да Илья Муромец  
он вернулся к своему да ко белу шатру  
да и лег-то он тут спать и проклаждатися  
а послé бою он лег-то да послé драки  
после бою-рукопашки отдыхать

меж тем

все та же декорация. Но нет  
Ни занавесей, ни картин на стенах.  
Смеркается. Не зажигают свет.

И странные клубящиеся тени  
Усугубляют чувство пустоты,  
Тоски и безотчетного смятенья.

Как на продажу сложены холсты  
И мебели остатки в угол дальний.  
Но на рояле нотные листы

Еще белеют в полумгле печальной,  
Уже у боковых дверей лежат  
Узлы, баулы, чемоданы. В спальню

Открыты двери настежь. Старый сад  
За окнами темнеет оголенный.  
За сценой глухо голоса звучат.

Купец застыл, немного удивленный,  
Перед забытой в спешке на стене  
Ландкартой Африки. Конторщик сонный

Увязывает ящик в стороне.  
А рядом молодой лакей скучает  
С подносом. Неожиданно в окне



Виденьем inferнальным возникает,  
Мелькает Некто в красном домино.  
И снова все тускнеет, затихает,

Смеркается. Уже почти темно.  
Вот бывшая хозяйка с братом входит.  
Она не плачет, но бледна. Вино

Лакей украдкой тянет. Речь заходит  
О новой книге Мопассана. Брат  
Насвистывает и часы заводит.

В дверях барон с акцизным говорят  
О лесоводстве. В кресле дочь хозяйки  
Приемная сидит, потупя взгляд.

Студент калоши ищет. В белой лайке  
Эффектно выделяется рука  
Штабс-капитана. Слышны крики чайки

За сценой. Входит, на помин легка,  
Невестка располневшая в зеленом  
Несообразном пояске. Близка

Минута расставания. С бароном  
Какой-то странник шепчется. Опять  
Мелькнуло Домино. Лакей со звоном

Поднос роняет. Земский врач кричать  
Пытается. А беллетрист усталый  
Приказывает на ночь отвязать

Собаку. Управляющий гитару  
Настраиивает. Гувернантка ждет  
Ответа. Из передней входит старый

Лакей в высокой шляпе. Дождь идет.  
Входя, помещик делает движенье  
Руками, будто чистого кладет

Шара от двух бортов. А в отдаленье  
Чуть слышно топоры стучат. И вновь  
В окне маячит красное виденье,

Кривляется. Уже давно готов  
И подан экипаж. На авансцену  
Герой выходит. Двое мужиков

Выносят мебель. Разбирают стены.  
Уходят, входят в полной темноте.  
Все безглагольным и неизреченным

Становится внезапно. Ждут вестей.  
Бледнеют. Видят знаки. Внемлют чутко.  
И чают появления гостей

Неведомых, грядущих. Сладко, жутко,  
Не очень трезво. Театр-варьете  
На счет цензуры отпускает шутки.

Маг чертит пентаграмму. О Христе  
Болтают босяки. Кружатся маски —  
Пьеро, припавший к лунной нагоде,

Маркизы, арапчата. Вьется пляска  
Жеманной смерти. Мчится Домино,  
Взмывает алым вихрем, строит глазки,

Хохочет, кувыркается. В окно  
Все новые влезают. Вот без уха  
Какой-то, вот еще без глаз и ног.

Всеобщий визг и скрежет. Полыхает,  
Хохочет Некто в красном. Мистагог  
Волхвует, бога Вакха вызывает.

И, наконец, всю сцену заполняют  
И лижут небо языки огня  
А поляница эта уда́лая  
ай как эта поляничища уда́лая  
на кони она сидела призадумалась  
хоть-то съездила на славну на святую Русь  
так нажила я себе посмех великий  
этот старья казак да Илья Муромец  
ай он на́звал тую матку мою блядкою  
ай он на́звал поляницу меня выблядком

не спу́щу-ка я обиды той великой  
да убью-то в поли чистом я богатыря.  
подъезжала-то она да ко белу шатру  
она би́ла-то рогатиной звериной  
она би́ла-то в Илюшин во белой шатер  
улетел-то ша́тер белый с Ильи Муромца  
Илья Муромец он спит там не пробудится  
от того от крепка сна от богатырского  
еще эта поляничища удалая  
она бьет его рогатиной звериной  
она бьет его собака по белой груди  
погодился у Ильи да крест на ворота  
а и крест-то погодился полтора пуда  
пробудился он от звону от крестового  
ай он скинул-то свои да ясны очушки  
как над верхом тым стоит ведь поляничища  
бьет рогатиной звериной по белой груди  
тут ско́чил-то как Илья он на резвы ноги  
а схватил он поляницу за желты кудри  
да спустил он поляницу на сыру землю  
да ступил он поляницы на праву ногу  
да он дернул поляницу за леву ногу  
а он надвое ее да ведь порбóзорвал  
да он перву половинку дал серым волкам  
а другую половинку черным воронам  
А и тут-то полянице ей славу́ поют  
ей славу поют да век по́ веку!

И тут очнулся я. Уже  
кончался этот день.  
Паскудно было на душе.  
Томили хмель и лень.

Вставай, пойдем своим путем!  
Не кукситься, пойдем!  
Недолг путь и близок дом,  
мы скоро отдохнем.

А там, на кладбище еще  
шел поминальный пир.  
Рекою слезы там текли  
и самопальный кир.

И я действительно пошел,  
куда ж я денусь тут.  
И был я так же мал и зол  
и не хорош ничуть.

Пылал над лесом, надо мной  
закатный небосклон,  
и мне вослед, бренча струной,  
орал магнитофон:

В Питере жил парень-паренек — эх, паренек! —  
симпатичный паренек фартовый,  
крупную валюту зашибал он — и водил  
девушек по кабакам портовым!

Женщин как перчатки он менял — всегда менял! —  
кайфовал без горя и печали.  
И шампанским в потолок стрелял — эх, стрелял! —  
в ресторанах Женьку узнавали!

Был у Жени кореш-корешок — эх, корешок! —  
был друган испытанный Володька,  
были не-разлей-вода друзья они — навек! —  
братьями друг другу были вроде!

Но однажды Вовка — эх, Вован молодой! —  
познакомился с красоткой Олей.  
Он хотел назвать ее женой — о Боже мой! —  
он хотел на ней жениться скоро!

А у Оли той была сестра — эх, сестра! —  
у нее была сестра Танюша.  
Женьку полюбила вдруг она — эх, она! —  
отдала она ему всю душу!

И они гуляли вчетвером — ой-ё-ё-ёй —  
танцевали танго под луною.  
А судьба уж руку занесла — над головой —  
и над жизнью Вовки молодой.

И однажды Женька забурел — эх, забурел! —  
и на танец Олю пригласил он,  
тут Володя тоже не стерпел — он не стерпел! —  
и ударил друга что есть силы!

И сверкнул в руке у Женьки ствол — черный ствол —  
и навел наган он в сердце друга.  
Выстрел прогремел, а Таня с Олей — эх, сестрой! —  
зарыдали в горе и испуге!

«Что же ты, братуха? Не стреляй — эх, не стреляй! —  
не стреляй в меня, братан-братишка!» —  
прошептал Володя и упал — эх, упал, —  
весь в крови молоденький мальчишка.

Что ж ты, Женья-Женька, натворил — о, Боже мой! —  
слышишь, мусора свистят, Евгений!  
Делай ноги, паря, если хочешь быть живой,  
убегай, скипай скорее, Женья!

Оторвался Женька от ментов — эх, ушел! —  
потерял он Таню дорогую!  
И напрасно девушка ждала — его ждала! —  
у фонтана, плача и тоскуя!

Годы пролетели, пронеслись — эх, года! —  
Женька возвратился в Питер милый.  
И однажды встретил Таню он — эх, Таню он —  
девушку, которую любил он!

Здравствуй, поседевшая любовь — моя любовь! —  
здравствуй и прощай, моя Танюша!  
За тебя я пролил, Таня, кровь — эх, Таня, кровь! —  
погубил я, Таня, свою душу!

Здравствуй и прощай, моя любовь — моя печаль! —  
нам с тобою больше не встречаться!  
Буду горе я топить в вине — на самом дне! —  
а вам пора за дело приниматься.

## IX. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ШИЛЬКОВА В КОНЬКОВО

*Педагогическая поэма*

Ну пойдем же, ради Бога!  
Мягко стелется дорога.  
Небо, ельник и песок.  
Не капризничай, дружок!  
Надо, Саша, торопиться —  
электричка в 10.30,  
следующая — через час —  
не устраивает нас.  
Так садись же на закорки,  
а верней, на шею, только  
не вертись и не скачи,  
пухлой ножкой не сучи.

Это утро так лучисто!  
Жаворонок в небе чистом.  
Ивы плещутся в реке.  
Песня льется вдалеке.  
Песня русская, родная,  
огневая, удалая!  
Это Лада, ой-лю-ли,  
Лада Дэнс поет вдали!  
Над перхуровскою нивой  
вьется рэгги прихотливый.  
Из поселка Коммунар  
отвечает Лика Стар.

А вообще почти что тихо.  
Изредка промчится лихо  
на мопеде хулиган,  
ныне дикий внук славян.  
И опять немолчный стрекот,  
ветра ропот, листьев шепот,  
лепет, трепет, бузина,  
то осина, то сосна.

Вот и осень. Хоть и жарко,  
хоть еще светло и ярко,

но уже заветный клен  
на две трети обагрён.  
И, наверно, улетели  
птицы, что над нами пели,  
свет-соловушка пропал.  
Кстати, значит, я наврал —  
это был не жаворонок,  
а, скорей всего, ворона.  
Впрочем, тоже хороша...

Вот и я, моя душа,  
помаленьку затихаю,  
потихоньку умолкаю,  
светлой грустью осенен  
в точности, как этот клен.  
И почти как эта лужа,  
только, к сожаленью, хуже,  
отражаю я листву,  
нас с тобою, синеву,  
старика, который тащит  
жердь из заповедной чащи,  
не страшася лесника,  
кучевые облака,  
солнце Визбора лесное,  
и, конечно, под сосною  
разложившийся пикник,  
блеск стекла в руках у них,  
завтрак на траве туристов,  
неопрятных гитаристов,  
дребезжание струны,  
выделение слюны  
от шашлычного дымочка,  
запоздалые цветочки,  
твой вопрос и мой ответ:  
«Можно, пап?» — «Конечно, нет!»,  
куст (особенно рябину),  
свежевырытую глину  
на кладбище и т.п.,  
и т.д...

А вот теперь  
успокойся. На погосте

пращуров усопших кости  
под крестом иль под звездой  
вечный обрели покой.  
Здесь твоя прабабка Шура  
и соседка тетя Нюра  
с фотокарточек глядят...  
Нет, конечно, не едят  
эту землянику, Саша!  
Здесь же предки с мамой ваши  
спят в земле сырой. Потом  
ты узнаешь обо всем.  
Ты узнаешь, что в начале  
было Слово, но распяли  
Немота и Глухота  
Агнца Божьего Христа  
(агнец — то же, что барашек),  
ты узнаешь скоро, Саша,  
как Он нас с тобою спас...  
— Кто, барашек? — Ладно, Саш.  
Это сложно. Просто надо  
верить в то, что за оградой,  
под кладбищенской травой  
мы не кончимся с тобой.

Ладно, Саша. Путь наш долог.  
Видишь, солнце выше елок,  
а до Шиферной идти  
нам с тобою час почти.  
Дальше ножками, Сашура,  
я устал, мускулатура  
и дышалка уж не те,  
и жирок на животе  
над ремнем навис противно.  
Медленно и непрерывно  
я по склону лет скольжу.  
И прекрасной нахожу  
жизнь, всё более прекрасной!  
Как простая гамма ясно  
стало напоследок мне  
то, что высказать вполне  
я покуда не умею,  
то, что я пока не смею



сформулировать, мой свет,  
то, чего покуда нет,  
что сквозит и ускользает,  
что резвится и играет  
в хвое, в небе голубом,  
в облике твоём смешном!

Вот и вышли мы из леса.  
Вот с недвижимым интересом  
овцы глупые толпой  
пялятся на нас с тобой,  
как на новые ворота.  
Песик, лающий до рвоты,  
налегает на забор.  
Ветер носит пыль и сор.  
Пьет уже Вострянск субботний,  
безответный, беззаботный,  
бестолковый, вековой.  
Грядки с чахлою ботвой.  
Звуки хриплые баяна.  
Матюканье и бляенье.  
Запах хлебного вина.  
Это Родина. Она  
неказиста, грязновата,  
в отдаленье от Арбата  
развалилась и лежит,  
чушь и ересь городит.

Так себе страна. Однако  
здесь вольготно петь и плакать,  
сочинять и хохотать,  
музам горестным внимать,  
ждать и веровать, поскольку  
здесь лежала треуголка  
и какой-то том Парни,  
и, куда ни поверни,  
здесь аллюзии, цитаты,  
символистские закаты,  
акмеистские кусты,  
баратынские кусты,  
достоевские старушки  
да гандлевские чекушки,

падежи и времена!  
Это Родина. Она  
и на самом деле наша.  
Вот поэтому-то, Саша,  
будем здесь с тобою жить,  
будем Родину любить,  
только странною любовью—  
слава, купленная кровью,  
гром побед, кирза и хром,  
серп и молот с топором,  
древней старины преданья,  
пустосвятов беснованье,  
пот и почва, щи да квас —  
это, Саша, не для нас!  
Впрочем, щи ты любишь, вроде.  
Ну а в жаркую погоду,  
что милей окрошки, Шур,  
для чувствительных натур?

Ох, и жарко! Мы устали.  
Мы почти что дошагали.  
Только поле перейти  
нам осталось. Погляди,  
вид какой открылся важный —  
поезд тянется протяжный —  
там, вдали, гудит гудок,  
выше — рыженький дымок  
над трубою комбината,  
горы белых химикатов,  
гладь погибшего пруда  
не воскреснет никогда.  
А вокруг — простор открытый,  
на участочки разбитый  
с пожелтевшею ботвой  
или сорною травой.  
Ветер по полю гуляет,  
лоб вспотевший овекает.  
Тучки ходят в вышине.  
Удивляются оне  
копошенью человечков,  
мол де, вечность, бесконечность,  
скоротечность, то да сё.

Зря. Неправда это всё.  
Тучки, тучки, вы не правы,  
сами шляетесь куда вы  
без ветрил свой краткий век?  
Самый мелкий человек  
это ого-го как много!

Вот и кончилась дорога.  
На платформе ждет народ.  
Провода звенят. И вот  
электричка налетает,  
двери с шумом растворяет.  
Мы садимся у окна.  
Рядом девушка одна  
в мини-юбке. Уж настолько  
мини, что, когда на полку  
рюкзачок кладет она,  
мне становится видна...  
Гм... Прости, я не расслышал.  
Как? Что значит «едет крыша»?  
Кто так, Саша, говорит?  
Я?!.. Потихе, тетя спит.  
Лучше поглядим в окошко.  
Вьется во поле дорожка.  
Дачник тащится с мешком.  
Дама с белым пудельком.  
Два сержанта на платформе  
(судя по красивой форме,  
дембеля). Нетрезвый дед  
в черный габардин одет.

В пастернаковском пейзаже  
вот пакгаузы и гаражи,  
сосны, бересклет, волчцы,  
купола, кресты, венцы,  
Бронницы... Вот здесь когда-то  
чуть меня из стройотряда  
не изгнали за дебош...  
Очень много жизни всё ж  
мне досталось (см. об этом  
в книге «Праздник»). Я по свету  
хаживал немало, Саш.

Смыв похабный макияж,  
залечив на этой роже  
гнойники фурункулеза  
и случайные черты  
затерев, увидишь ты:  
мир прекрасен — как утенок  
гадкий, как больной ребенок,  
как забытый палимпсест,  
что таит Благую Весть  
под слоями всякой дряни,  
так что даже не охрана,  
реконструкция скорей  
смысл и радость жизни сей!  
Так мне кажется...

В вагоне  
от людей, жары и вони  
с каждой станцией дышать  
все труднее и сдержатъ  
раздраженье все труднее.  
Поневоле сатанея,  
злостью наливаюсь я  
от прикосновений потных,  
от поползновений рвотных,  
оттого, что сам такой,  
нехороший, небольшой.  
(Но открою по секрету,  
я — дитя добра и света.  
Мало, Сашенька, того —  
я — свободы торжество!  
Вот такие вот делишки.)  
Жлоб в очках читает книжку  
про космических путан.  
«Не стреляй в меня, братан!» —  
слышится в конце вагона  
песня из магнитофона.  
И ничто, ничто, ничто,  
и тем более никто  
не поможет удержаться,  
не свихнуться, не поддаться  
князю этого мирка.  
Разве что твоя рука,

теребящая страницы  
«Бибигона», и ресницы  
сантиметра полтора  
минимум... Уже пора  
пробираться в тамбур, Саша.  
Следующая будет наша.  
Все. Выходим на перрон.  
Приготовленный жетон  
опускаем в щель. Садимся.  
Под землей сырою мчимся.  
Совершаем переход  
на «оранжевую». Вот  
мы и дома, мы в Коньково!  
Дождик сеет пустыковый  
на лотки и на ларьки.  
На тележках челноки  
горы промтоваров катят.  
И с плакатов кандидаты  
улыбаются тебе.  
И парнишка на трубе  
«Yesterday» играет плавно.  
И монашек православный  
собирает на собор.  
Девки трескают ликер,  
раскрутив азербайджанца.  
У бедняги мало шансов,  
видно, Саша, по всему  
уготовано ему  
стопроцентное динамо...  
Ой, гляди, в окошке мама  
ждет-пождет, а рядом Том  
Черномырдин бьет хвостом  
(так его прозвал, Сашуля,  
остроумный дядя Юлий).  
Вот мы входим в арку, вот...  
нас из лужи обдает  
пролетевшая машина.  
За рулем ее дубина.  
Носит он золотую цепь,  
слушает веселый рэп.

Что ж, наверно, это дилер,  
или киллер, Саша, или

силовых структур боец,  
или на дуде игрец,  
словом, кто-нибудь из этих,  
отмороженных, прогретых  
жаром нынешних свобод.  
Всякий, доченька, урод  
нынче может, слава Богу,  
проложить себе дорогу  
в эксклюзивный этот мир,  
в пятизвездочный трактир.  
Ох, берут меня завидки!  
Шмотки, хавчик и напитки,  
и жилплощади чуть-чуть  
я хотел бы хапануть.  
И тебе из Lego замок.  
И велосипед для мамы.  
Rothmans, а не Bond курить...  
Я шучу. Мы будем жить—  
не тужить, не обижаться,  
и не обижать стараться,  
и за все благодарить,  
слушаться и не скулить.

Так люби же то-то, то-то,  
избегай, дружок, того-то,  
как советовал один  
петербургский мещанин,  
с кем болтал и кот ученый,  
и Чедаев просвещенный,  
даже Палкин Николай.  
Ты с ним тоже поболтай.

*1993 — 1996*

## Содержание

I. Игорю Померанцеву. Летние размышления о судьбах изящной словесности .....	6
II. Из цикла «Памяти Державина»	
1. Парафразис .....	14
2. «Столь светлая — аж золотая...» .....	17
3. «Отцвела-цвела черемуха-черемуха...» .....	17
4. «Не умничай, не важничай...» .....	18
5. «Слишком уж хочется жить. Чересчур...» .....	19
6. Вечернее размышление .....	20
7. «Чуть правее луны загорелась звезда...» .....	22
8. «Словно маньяк с косою неумолимой...» .....	23
9. Исторический романс .....	26
10. «Когда фонарь пристанционный...» .....	27
11. «На слова, по-моему, Кирсанова...» .....	28
12. «Меж тем отцвели хризантемы, а также...» .....	29
13. «Читатель, прочти вот про это...» .....	31
14. «В окне такое солнце и такой...» .....	32
15. Вокализ .....	33
16. Романс .....	34
17. «Осень настала. Холодно стало...» .....	35
III. Солнцедар .....	37
IV. Из цикла «Памяти Державина»	
18. «От благодарности и страха...» .....	46
19. «Да нет же! Со страхом, с упреком...» .....	47
20. «Наш лозунг — «А вы мне не тыкайте!»...» .....	49
21. «Чайник кипит. Телек гудит...» .....	50
22. «Видимо, можно и так: просвистать и заесть...» .....	51
23. Русофобская песня .....	51
24. «Щекою прижавшись к шинели отца...» .....	52
25. «За все, за все. Особенно за то, что...» .....	53
26. «Отцвела черемуха...» .....	54
V. Молитва .....	56
VI. Колыбельная для Лены Борисовой .....	59
VII. Двадцать сонетов к Саше Запоевой .....	63
VIII. История села Перхурова .....	73
IX. Возвращение из Шильково в Коньково .....	93

В поэтической серии «Автограф», издаваемой «Пушкинским фондом», вышли следующие сборники:

1. Б. Ахмадулина. Ларец и ключ
2. В. Салимон. Невеселое солнце
3. И. Лиснянская. После всего
4. Ю. Кублановский. Памяти Петрограда
5. И. Бродский. В окрестностях Атлантиды
6. Н. Кононов. Лепет
- 7 А. Пурин. Евразия и другие стихотворения
8. Е. Шварц. Песня птицы на дне морском
9. С. Гандлевский. Праздник
10. В. Гандельсман. Там на Неве дом...
11. В. Дроздов. Стихотворения
12. Л. Лосев. Новые сведения о Карле и Кларе
13. А. Цветков. Стихотворения
14. Д. Новиков. Караоке
15. И. Жданов. Фоторобот запретного мира
16. Т. Кибиров. Парафразис
17. Е. Шварц. Западно-восточный ветер

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных сборников обращайтесь  
в издательство по адресу:  
191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».  
Информация по телефону: (812) 273-37-24  
Факс: (812) 273-52-56



К—38

**Кибиров Тимур**

**Парафразис: Книга стихов.** —

СПб.: Пушкинский фонд, 1997.— 104 с.

ISBN 5-85767-100-0

ББК 84.Р7

**Кибиров Тимур Юрьевич**

**ПАРАФРАЗИС. Книга стихов**

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1997

Редактор *Г. Ф. Комаров*

Корректор *В. Г. Комарова*

ЛР №030448 от 10 ноября 1992 г.

Поэтическая серия “Автограф”  
изготавливается при участии  
Просветительско-издательского  
объединения АДИА-М+ДЕАН  
СПб, 191025, а/я 298  
тел(812) 164 52 40, факс (812) 164 52 85  
E-mail: igor@adia.spb.su or andrei@dean.spb.su

Подписано в печать 24.02.97г.

Формат 60x84 1/16. Печать офсетная.

Усл. печ.л. 6,5. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз. Зак.№ 33



Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии “Полиграфический центр”  
190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., д. 6  
тел./факс 812 315 3310

